

Всеволод Нестайко

НЕЗНАКОМЕЦ
ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ
КВАРТИРЫ



Издательство "Детская литература"



• Павлуша Завгородний •



• Ива Рень •





Всеволод Нестайко

НЕЗНАКОМЕЦ



ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ
КВАРТИРЫ
или
ПОХИТИТЕЛИ ИЩУТ
ПОТЕРПЕВШЕГО...

Приключенческая
повесть,
написанная
Явой Ренем и
Гавлушей
Завгородней



Перевел
с украинского
Николай
Симаков

Издательство
„Детская литература“ Москва 1971

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Вы, наверно, уже читали книги известного украинского писателя Всеволода Нестайко — «В стране солнечных зайчиков», «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо и его верного друга одноклассника Павлуши Завгороднего...», — которые выходили у нас.

«Незнакомец из тринадцатой квартиры, или Похитители ищут потерпевшего...» — как бы продолжают веселые, занимательные приключения Павлуши Завгороднего и Явы Реня, бывшего Робинзона Кукурузо. Это они, наши давнишние друзья, будучи в Киеве, с помощью старого актера Максима Валерьяновича приобщились к киноискусству. А вернувшись домой, в село Васюковку, и создали у себя ВХАТ.

Что это такое — ВХАТ, вы узнаете, когда прочитаете эту повесть.

Р и с у н к и Г. А Л И М О В А



Глава I

«Э!» — СКАЗАЛИ МЫ С ЯВОЙ

Я поправляю бакенбарды, встаю на цыпочки и заглядываю в дырку в занавесе. И сердце мое бьется и замирает.

Не я первый смотрю в дырку. До меня в такую же дырочку заглядывали, наверно, и Щепкин, и Станиславский, и Тарапунька, и Штепсель — тысячи артистов всех времен и народов. И так же спокойно и весело рассаживались зрители в зале. И так же уходила душа в пятки у тех, кто был на сцене. Особенно если премьера.

А у нас сегодня премьера.

— Ну-ка подвинься! Дай мне!

Чья-то разгоряченная щека решительно отпихивает мою голову от дырки. Это Степа Карафолька. В другой раз я, пожалуй, не стерпел бы такого нахальства, может, и по шее бы дал... Но сейчас у меня нет на это энергии. Вся моя энергия уходит на волнение.

В обычном состоянии человек сначала вдыхает, а потом выдыхает. Но когда человек волнуется, он, по-моему, только выдыхает. И откуда берется воздух у него в груди, не знаю. Я хожу по сцене и выдыхаю.

Может, вы думаете, что я один хожу и выдыхаю? Как бы не так! Вон, слышите? «Х-ху... Х-ха... Х-хи...» Все артисты ходят и выдыхают. И кажется, что от этого и ветер гуляет по сцене, качает декорации, шевелит занавес и пыль поднимает с пола. Если бы наш сельский клуб был не кирпичный, а резиновый, он бы раздулся, как праздничный шар, и давно бы лопнул. А мы все полетели бы в космос — вместе с декорациями, с баянистом Мироном Штепой, который играет сейчас последнюю перед началом польку-кокетку, вместе с мороженщицей Дорой Семеновной, со всеми зрителями.

Зрители!.. Ох уж эти зрители! Разрази их гром! Еще совсем недавно это были такие милые, добрые люди, которые всегда могли помочь, поддержать, посочувствовать. Николай Павлович, дед Варава, дед Саливон, завклубом Андрей Кекало, тетка Ганна, бабка Маруся, папа, мама. Они за тебя в огонь и в воду — куда хочешь!

А теперь? Теперь даже мама родная — не мама, а зритель.

И нет ни одной живой души по эту сторону занавеса, кто бы не волновался. От учительницы литературы Галины Сидоровны, нашего художественного руководителя, до гундосого третьеклассника Пети Пашко, который раздвигал и задергивал занавес. Все волновались. Но больше всех, конечно, мы: я и Ява. Нам было с чего волноваться. Ведь это мы заварили кашу — придумали этот театр.

Мы с Явой — как Станиславский и Немирович-Данченко в нашем сельском МХАТе (то бишь ВХАТе).

— А что? А что?! — размахивая руками, горячился прошлой осенью Ява. — Знаешь, какой театр можно отгрохать! На весь район!.. Настоящий МХАТ будет! Только тот Московский, а наш — Васюковский. Васюковский Художественный академический театр — ВХАТ. А что? На гастроли ездить будем... Вон МХАТ вернулся же недавно из Америки. Разве плохо?!

Да меня не нужно было убеждать. Я был Немирович-Данченко... Убеждать нужно было Галину Сидоровну и другое школьное начальство. Но, между прочим, и Галину Сидоровну убеждать не пришлось. Она сразу нас поддержала:

— Молодцы, ребята! Правильно! Я давно хотела организовать драмкружок, да как-то все руки не доходят. Вот вы,

как инициаторы, и составьте список всех желающих. Парни вы энергичные — будьте старостами кружка.

Мы страшно важничали в тот день. Мы даже ни разу ни гикнули и не пнули никого ногой. Серьезные и солидные, мы ходили по классам и составляли список — длинный-предлинный, на два с половиной метра. Сперва записалась чуть ли не вся школа. (Хорошо, что потом, как это часто бывает, девяносто процентов отсеялось.) Мы так запарились с этим списком, что под конец даже не всех хотели записывать. Коле Кагарлицкому Ява сказал:

— Больно уж ты... тихий какой-то! Нигде тебя не слышно. Тебя и со сцены не услышат.

И только увидя, как побагровел Кагарлицкий, Ява смилостивился:

— Ну разве что статистом... толпу играть... — и записал.

На первом заседании кружка выбирали пьесу. Выбирали долго. Десятки пьес перебрали. От трагедии Шекспира «Отелло» до драмы Корнейчука «Платон Кречет». Все они были про любовь, а это, как сказала Галина Сидоровна, нам еще рановато. Мы начали уже отчаиваться, стали думать, что все пьесы про любовь. И как тут быть? Не целоваться же при всех на сцене с какой-нибудь Ганькой Гребенючкой!.. Я лучше с козой поцелуюсь!..

Наконец Галина Сидоровна сказала:

— Поставим «Ревизора». Во-первых, это не про любовь. А во-вторых, мы скоро будем проходить Гоголя по программе, так что это нам будет очень полезно. В-третьих, «Ревизор» — просто очень веселая и хорошая вещь. И ролей много, как раз всем хватит.

Мы тут же прочитали «Ревизора». Вот это комедия! Если хорошо поставить — животы надорвешь!

Начали распределять роли. И тут сразу вышла заминка. Мы с Явой, как основатели ВХАТа, вполне законно хотели играть главные роли. Причем одинаковые. Но главная роль была одна — Хлестаков. Я считал, что она как раз для меня. Сам Гоголь пишет: Хлестаков — «тоненький, худенький... без царя в голове... не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли...» Ну, да что говорить!..

Но Ява сказал:

— Тю!.. Хорошенько посмотри на себя в зеркало и увидишь сам, что похож на Хлестакова, как свинья на коня. Только и сходства — две руки, две ноги и голова. Хлестаков — ведь это огонь! Это, знаешь... во!

И он стал в позу, задрал нос и оттопырил губу.

— Ха! — сказал я. — Смотрите на него! Ой, не могу!.. Хлес-

таков! Чучело какое-то, а не Хлестаков! Крокодил какой-то!.. А ну пусти! Пусти, говорят, рубашку! А то как дам!..

Роль Хлестакова Галина Сидоровна дала Коле Кагарлицкому.

Трудно было и с другими ролями. И городничий Сквозник-Дмухановский один, и судья Ляпкин-Тяпкин один, и попечитель Земляника один, и... И все-таки «Ревизор» — гениальная пьеса. А Гоголь — гениальный писатель. Он как будто знал, что мы с Явой будем играть в «Ревизоре», и написал две роли — Добчинского и Бобчинского. Совершенно одинаковые. Специально для нас. Чтобы мы не ссорились. Роли, конечно, не совсем главные. Но вы не думайте — без Бобчинского и Добчинского вся пьеса пошла бы вверх дном. Ее вообще бы не было. И не играл бы Кагарлицкий Хлестакова. Потому что Бобчинский и Добчинский выдумали, что Хлестаков — ревизор. Вот ведь что!

Как только мы с Явой это поняли, тут же и помирились.

Начались репетиции...

Э-хе-хе!..

Почему-то мы с Явой ничуть не сомневались в нашем артистическом таланте. Уж что-что, а всякие выкрутасы, разные штуки-трюки делать мы умели. Еще бы!.. На все село были знамениты.

— Вот артисты! — так прямо и сказал про нас дед Саливон.

А он в этом деле понимает. Когда-то давно, когда еще служил в армии, дед Саливон играл в оркестре. На самой большой трубе, которая называется бас-геликон. Она и сейчас лежит у него на чердаке, похожая на огромную улитку. На праздник, если дед Саливон хватит «по третьей», он иногда дает «концерт» — бухает в свою трубу. «Как трубный глас архангела», — говорят старушки и крестьяне. Но больше всех дедова игра нравится нашим собакам. После каждого «концерта» они восторженно твякают до самой ночи. Да, уж раз дед Саливон сказал, что мы артисты, сомнений быть не могло.

Но на репетициях с нами что-то стряслось. Мы сами себя не узнавали. Это были не мы, а два каких-то слизняка, две мокрицы, два мешка с трухой. И тут мы поняли, что одно дело — говорить, что тебе самому пришло в голову, шутить и валять дурачка (как скажет мой отец), и совсем другое — произносить слова не свои, а написанные кем-то другим, то есть играть роль.

Мы не говорили. Мы как будто жевали резину. И нам было гадко. Было горько во рту и холодно в животе.

— Ничего,— бодрился Ява.— На премьере мы себя покажем. Там уж мы дадим! Ух дадим!

— Ну как же, дашь фигу с маком,— безнадежно бубнил я.

— Паникер несчастный! На репетициях даже у великих артистов не получалось... Ты же знаешь... Что Максим Валерьянович рассказывал? Держись!

Я держался из последних сил. Еще спасибо Гоголю, что он не дал нам — Бобчинскому и Добчинскому — еще больше слов. Мы с тем-то, что есть, не могли управиться.

Это было хуже любых уроков. Ведь нам учить стихи по литературе — и то мучение. Так в стихах хоть за рифму цепляешься, чтобы запомнить... А тут — проза. Не за что зацепиться. Пока смотришь в бумажку, где роль записана, слова еще как-то держатся кучей. А только спрячешь бумажку — все они сразу разбегаются, как тараканы по печке. Но с бумажкой играть на сцене нельзя. Если артисты будут выступать с бумажками, как ораторы на трибуне, получится не спектакль, а конференция. А мы не конференцию разыгрывать собирались...

— Ява,— вздыхал я,— давай все-таки учить роли. Смотри, как Карафолька зубрит! А Гребенючка даже кино два раза пропустила.

— Чтоб я зубрил?! Да ни-ко-гда!.. Зубрежка — для дураков. А мы с тобой ребята хваткие. Давай-ка лучше над эмблемой подумаем. Во МХАТе чайка на занавесе, а мы можем утку, или гуску, или петуха с такими яркими перьями... Как ты думаешь?

— Не знаю.

— Ну, мы об этом еще подумаем, время есть... А сейчас айда на берег, я там лисью нору нашел. Может, выгоним рыжехвостую!

Я молча поплелся за Явой.

Прошел день, другой...

— Ява,— сказал я через неделю,— давай-ка, брат, учить слова! Я ничегошеньки из своей роли не знаю.

— А-а! — махнул рукой Ява.— В крайнем случае, суфлер поможет. Он ведь у нас будь здоров!

Это верно. Суфлер у нас и вправду знаменитый. Кузьма Барило. Чемпион школы по подсказкам. С последней парты подсказывает, как в самое ухо шепчет.

Премьеры нашей все село ждало с таким нетерпением, как будто мы были лучшим столичным театром. Особенно после того, как на репетициях побывал дед Саливон. Он слу-

чайно попал на репетицию (чинил в клубе стулья, а тут и мы пришли). Сперва дед Саливон на нас внимания не обращал, стучал себе молотком. Но вот, слышим, стук прекратился — прислушивается дед. А мы как раз раздраковивали первое действие. Городничий — Карафолька стоял на сцене, выпитив сделанный из подушек живот, и хриплым басом (откуда он у него только взялся!) говорил полицейскому (Васе Деркачу):

— «...Квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную вежу, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город: только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник, или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!...»

Тут в пьесе написано «вздыхает». Карафолька по всем правилам вздохнул и сделал паузу. Этой паузой немедленно воспользовался дед Саливон, которому, видно, давно уже не терпелось высказаться.

— Вот щуй сын! — на весь зал гаркнул дед. — Вот ведь специалист! (Специалист почему-то было у деда самым ругательным словом.) Очковтиратель чертов! Ну точненько наш бывший председатель Припихатый! Тот тоже такие штуки отмачивал, как только начальство из области должно было приехать... Правильная пьеса! Молодец автор! Знает жизнь...

В тот же день все село заговорило про будущую постановку. «Бу-бу-бу... Ревизор!.. Гу-гу-гу... Хлестаков!.. Ру-ру-ру... Пьеса!» — только и слышалось по всем углам. Даже самые древние бабуси, которые сроду такого слова и во рту не держали, и то: «Ревизор», «Ревизор»... Смех, да и только! А глуховатая бабка Гарбузиха распустила среди своих престарелых подружек слух, что автор пьесы никакой не Гоголь, а корреспондент районной газеты товарищ Курочка, который приезжал когда-то в наше село; и написано все это про нашего бывшего председателя Припихатого. А из-за того, что Припихатый сейчас на ответственном посту инспектора в областном управлении культуры, то Курочка и написал все так завуалированно и подписался не своим именем, а псевдонимом — «Гоголь». нынешний председатель колхоза Иван Иванович Шапка ужасно смеялся над этими слухами и в веселом настроении выдал нам порядочные деньги на декорации и костюмы. Это была настоящая удача. Готовить декорации

помогал нам учитель рисования Анатолий Дмитриевич, а костюмы шила целая бригада девчат. Всю зиму, до самой весны готовили мы постановку. И вот...

Если бы этим вечером какой-нибудь вор забрел в наше село, он мог бы спокойно, не прячась, выносить из хат все, что ему хочется, и не торопясь грузить на телегу. Дома не осталось ни души. Даже собаки сбежались к клубу на свои собачьи вечерки.

Да что говорить! Даже стосемилетняя Триндичка, прапрабабушка нашего зоотехника Ивана Свиридовича, про которую дед Саливон сказал, что она «уже второй вираж начала», что у нее скоро снова прорежутся зубы и она никогда не умрет, к которой даже из Киева приезжали выяснять, почему она так долго живет¹, — та самая Триндичка, которая уже тридцать лет не выходила со двора, никогда не была в кино и не то что в клуб — в церковь-то уже не ходила, и даже она приковыляла на наше представление.

— Ну вот! Я же говорил! — на весь зал радостно гаркнул дед Саливон. — Уже ходить учиться. Скоро и плясать начнет...

За это бабка Триндичка под общий хохот молча огрела деда клюкой по шее.

Но постойте, постойте...

Дзынь! Дзынь! Дзынь-нь-нь!.. — резанул по сердцу третий звонок.

В зале гаснет свет.

— А ну, а ну!.. — шикает на нас (на тех, кто не должен быть на сцене в первом явлении) Галина Сидоровна.

Занавес со скрежетом раздвигается (он у нас, как пес на железных кольцах, по ржавой проволоке бегаёт).

Всё!

Начали!

Теперь деваться некуда.

— «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы...» — раздаётся уже голос городничего — Степы Карафольки.

Пошло дело...

Я стою за кулисами зажмурившись и, сжимая на груди кулаки, шепчу: «Все будет хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Как заклинание.

Эх и дуралей же я — не знаю ни одной молитвы! А меня ведь бабушка учила! Хоть я пионер... и не верю, конечно, а

¹ А мы с Явой точно знали: потому что она полынь — божье дерево — есть, мы сами видели. Мы тоже пробовали эту полынь есть, но на второй день бросили — горько; вот, может, когда состаримся, тогда... А то и совсем не нужно нам такого горького, невкусного долголетия. (Прим. автора.)

как бы теперь пригодилось! Вот такое же было со мной, когда я впервые отважился прыгнуть в речку с самой верхушки ивы. Я стоял на сучке и смотрел вниз, и мне казалось, что сердце мое уже вырвалось из груди и летит в воду, а я все еще стоял, вцепившись в иву, и не мог оторваться. Голова кружилась, и в животе тенькало... И все же это были детские игрушки по сравнению с тем, что меня ожидало. Я с радостью прыгнул бы сейчас не то что с ивы — с телевизионной башни прыгнул бы, только бы все обошлось...

— Ха-ха-ха-ха! — грохнул хохотом зал. Вот бисов Карафолька! У него уже и на репетициях смешно получалось...

«Ну ничего, спокойно, спокойно! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Вот сейчас зрители опять должны засмеяться...»

— Х-ха-ха-ха!

«Ну вот, а я, дурак, боюсь!»

Наш выход все ближе и ближе... Вот уж сейчас, сейчас... Как только Карафолька скажет... Во!!!

— «Так и ждешь, что вот откроется дверь — и шашть...»

Внутри у меня что-то ёкнуло, я рванулся всем телом и вместе с Явой выскочил на сцену.

— «Чрезвычайное происшествие!» — отчаянно гаркает Ява.

— «Неожиданное известие!» — точно так же гаркаю я.

— «Что? что такое?» — всполошились все, кто был на сцене.

Вышло очень здорово. Зал замер.

— «Непредвиденное дело, — снова кричу я, — приходим в гостиницу...»

— «Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...» — перебивает меня Ява.

Зал молчит.

«Ай да молодцы! Ну и молодцы же мы!» — мелькает у меня в голове. Взглядом победителя обвожу зал, вижу десятки глаз, устремленных на меня и...

— Э! — говорю, перебивая Яву. Я хорошо знал, что должен в этот момент сказать «Э». Но дальше... Словно кто-то в ухо мне вдруг — фф-фу! И все из моей головы через другое ухо — фф-фють! — и пусто. Как в дырке. И ни одного слова нет. Не то что там из роли Добчинского, а вообще ни единого — будто я теленок и не знаю человеческого языка. Только вот это «э» в голове и осталось и гулко перекачивается там, стучаясь о череп.

— Э! — повторяю я и смотрю на Яву.

А он смотрит на меня. И я догадываюсь, что у него тоже.... все из головы — фють! — и пусто.

Я экаю в третий раз.

— Э!—отвечает Ява, только чтоб не молчать.

И смотрим друг на друга.

— Э!— кричу я.

— Э!— отвечает Ява.

И снова таращим глаза... В зале прыскают со смеху. Видно, думают, что так и нужно.

Вон и бабка Триндичка растянула в улыбке свой беззубый рот. Подбородок ее трясется, и лицо стало сплюснутым от смеха (сколько уж лет она не смеялась!).

— Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!..— гудит зал.

Кузьма высунул голову из суфлерской будки и, широко разевая рот, подсказывает по складам, что нам говорить. Кажется, и глухой его понял бы. Уже и городничий — Кара-фолька подсказывает, и почтмейстер — Сашка Гузь. Уже и в первых рядах поняли, и даже кто-то из публики, расслышав Кузьму, сам начал подсказывать.

Я слышу отдельные слова, но они разбегаются, как непослушные овцы. А я, как недотепа-пастух, не могу собрать их вместе. Если бы меня в тот момент спросили: «Как твоя фамилия?» — я и то, наверно, не смог бы ответить.

А в задних рядах всё еще хохочут, думая, что так и нужно по пьесе. И сквозь хохот слышится чей-то возглас: «Вот молодцы! Ну и молодцы!»

Это уж слишком!

Больше выдержать я не могу.

Я срываюсь с места, сбиваю по пути какую-то декорацию и вылетаю вон со сцены...

Я бежал по безлюдному селу наугад, не разбирая дороги, и ветер свистел в моих бакенбардах.

И только когда очутился за селом, в лозняке над речкой, я упал на траву, и катался, и стонал, и землю грыз от позора, от стыда, от горя. А когда через несколько минут первый приступ отчаяния прошел, я увидел, что рядом со мной катается, стонет и землю грызет мой друг Ява — Бобчинский.

Мы не сказали ни слова. Мы только посмотрели друг другу в глаза. Что же мы наделали?! Ведь мы не только провалились сами, опозорились на все село, мы подвели и всех остальных. Такую пьесу провалили!.. Ведь, как вы уже знаете, хоть и не главные герои Бобчинский и Добчинский, а так уж написана эта гениальная пьеса, что без них — ни тпру ни ну. Вот мы сейчас убежали, а там все сорвалось.

Скандал... Паника... Ведь не могут же узнать городничий — Карафолька и все другие чиновники, что в гостинице живет Хлестаков — Кагарлицкий, которого нужно принимать за ре-визора. Сказать это должны были мы, Бобчинский и Добчин-ский. Кроме нас, никто этого сделать не может. Никто! Рас-терянно стоит на сцене талантливый Карафолька, не зная, что делать. И все другие актеры стоят, как пришибленные. А за сценой, так и носа на нее не высунув, страдает самый талантливый из нас Коля Кагарлицкий. Ах, какой же он был Хлестаков на репетициях! И откуда у него все это бралось!.. А ведь раньше такой тихий был и незаметный... Мы его и за хлопча не считали. Ни с дерева в воду нырнуть, ни окно из рогатки выбить... Уткнет нос в книгу и сидит себе под грушей молчком. А на сцене такое выделял, что только ах!.. И те-перь никто этого не увидит.

И знаменитый предок зоотехника бабка Триндичка, кото-рая за сто лет, может, в первый раз собралась культурно развлечься, поплелась домой сверчков на печи слушать. Не-довольная и хмурая расходится публика по хатам. Ругает во все тяжкие этот прихотливый и ненадежный театр, кото-рый так сильно зависит даже от самых что ни на есть пар-шивеньких актеров.

А эти самые актеры лежат в это время на траве, смотрят в небо, где насмешливо подмигивают им звезды, и страдают. На весь космос, на всю Вселенную страдают.

Ну как же теперь показаться людям?! Как смотреть в глаза им?! Как вообще жить на свете после этого?! Ох, что же мы наделали!..

Вот беда!..

И зачем мы только придумали этот ВХАТ на свою голову! Ведь жили мы беззаботно и весело.

И что нам нужно было?!

В Америку захотелось? На гастроли? Венков лавровых? Аплодисментов? Шибздики несчастные! Пощечины вам вмес-то аплодисментов!..

А все началось с Киева. Это Киев виноват. И киевская милиция. И то злосчастное корыто. И Валька. И Максим Валерьянович. И часы «Салют». И... утопленник. Утопленник виноват в первую очередь. Но подождите, давайте всё по порядку.

Глава II

СЛУЧАЙ В МЕТРО. «КОСМОНАВТ».

КОНФЛИКТ С КИЕВСКОЙ МИЛИЦИЕЙ

Прошлым летом мы приехали в Киев. На целый месяц. В гости к моим родным — дяде и тете. Вот было здорово! Мы весь год мечтали об этом. Не то чтоб мы никогда не бывали в Киеве — бывали. Ява один раз, а я так даже два. Но тогда, в первый раз, мы были всем классом на экскурсии. И то только два дня. А во второй раз я был один, без Явы. Но это ведь не то, совсем не то. Вы же сами знаете, что радость, которую нельзя разделить со своим лучшим другом, — не полная радость. И даже не половинка. А какая-нибудь четвертинка.

Если вы только что приехали в Киев, с чего вы начнете? Правильно, с Крещатика! Так уж заведено... Прямо с поезда вы заносите свои чемоданы на квартиру, и ноги сами собой несут вас на Крещатик. Тетя едва успевает крикнуть вам в догонку: «Смотрите не потеряйтесь и на обед не опоз...» — дальше вы уже не слышите.

Через двадцать минут после того, как приехали, мы уже шли по Крещатику...

Что я сказал — шли? Мы парили, плыли, вышагивали гордо и торжественно, как на параде. По Крещатику нельзя просто так идти. Такая уж это необычная улица. Тот, кто попал на Крещатик, становится словно другим человеком. Все на Крещатике кажутся какими-то радостными и праздничными. И на удивление вежливыми, приветливыми. И все улыбаются. И хотя люди идут по Крещатику тесной толпой, но я не видел, чтобы кто-то кого-то двинул ногой, ударил локтем или обругал. Если кто-то и толкнет нечаянно — «Простите!» — улыбнется и идет себе дальше. Хорошие люди на Крещатике! Нужно, чтоб на всех улицах такие были.

Плывем мы, парим, вышагиваем...

Широкий, как Днепр, Крещатик (по радио на праздниках всегда так говорят). По берегам — на тротуарах — люди, посередине, на мостовой, — машины. И так же как на тротуарах не увидишь ни одной машины, так и на мостовой — ни одного человека. Каждому — свое. И чтобы одно другому не мешало, переходы под землю спрятали. Такой на Крещатике порядок — любо-дорого. «Легче у нас под телегу попасть, чем тут под машину», — подумал я. Да только успел я это подумать, как вдруг с тротуара прямо под машины как с привязи сорвался какой-то человек. Лысый, в темных очках, с фото-

аппаратом через плечо и как будто без брюк — в одних трусах. Только по пуговицам мы и догадались, что это такие штаны, но короткие, как трусы. Из этих штанов торчали некрасивые толстые ноги, покрытые густыми волосами. По всему было видно, что это не из наших, а какой-нибудь интурист.

Мы с Явой замерли: неужели перебежит?!

Но тут враз — цуррр! — будто из земли вырос молоденький, стройный милиционер с заливчатски закрученными усами. И голоногий интурист, не добежав даже и до середины, так и присел, смешно растопырив руки. Потом повернулся и рысцой потрусил назад. Милиционер только улыбнулся и погрозил пальцем, как учитель недисциплинированному ученику (хотя интурист был вдвое старше милиционера).

— Во! Видел? — гордо сказал Ява. — Думает, наверно, раз приехал из какого-нибудь там Лондона или Рио-де-Жанейро, так можно тут шляться где хочешь! Дудки! Лезь, голубчик, под землю, как все люди. Невелика шишка!.. — Ява восторженно глянул на молодцеватого, симпатичного милиционера и сказал: — Знаешь, Павлуша, все-таки нет ничего лучше, как быть милиционером. Во-первых, благородно! Борешься со всякими ворами, бандитами и хулиганами. Во-вторых, все тебя уважают, а если нужно, и боятся. Я, наверно, все-таки стану милиционером. А ты?

— А я — летчиком. Ты же знаешь.

— Как хочешь, — сказал Ява и вздохнул.

Ява менял профессии, как цыган коней. Сегодня он капитан дальнего плавания. Завтра — геолог. Послезавтра — директор кондитерской фабрики. («По три кило «Тузика» в день есть можно!») Потом футболист киевского «Динамо». Потом художник. Потом зверолов, который ловит для дрессировки тигров, барсов и ягуаров. А теперь, смотрите, — милиционер!

А я так нет. Вот как решил еще в первом классе, что буду летчиком, так и держусь твердо.

Даже дед Саливон сказал недавно: «Ты смотри, какой упрямый!.. Знать, все-таки будет летчиком этот слюнявка, чтоб его муха брыкнула!»

Только иногда я не выдерживаю и присоединяюсь к Яве за компанию. Да и то только так, чтобы оставаться летчиком. Я уже был и морским летчиком, и летчиком-футболистом, и летчиком-художником, и летчиком-звероловом, и летчиком-геологом, и даже летчиком на кондитерской фабрике, который перевозит самолетом конфеты «Тузик».

Но на этот раз я воздержался, так как не представлял

себе летчика-милиционера. Кого же он будет задерживать в восторге? Разве что аистов?

Нет, пусть уж на этот раз я останусь просто летчиком.

Плыдем мы, парём, вышагиваем по Крещатику...

Справа роскошно облицованные дома, похожие на гигантские изразцовые печи, один к одному громоздятся, в гору на Печерск взбираясь.

Слева универмаг стеклом на солнце блестит. Дальше огромный десятиэтажный горсовет. «Сколько же в нем людей советуется, в такой громадине!»

Где-то за горсоветом башня телевизионная небо до самого космоса проткнула. Вот это высота! Ничего не видал выше. Вот где от матери после двойки прятаться! Не то что на нашей груше. Не только не стащишь, не докричишься никогда!

После горсовета, за улицей Свердлова, Крещатик сворачивает вправо и на площади Калинина раздвигает дома от себя подальше, словно собирается крикнуть: «Пустите меня, я хочу нырнуть в Днепр!» Но на площади Ленинского Комсомола утыкается в филармонию. И из-за этой филармонии в Днепр так и не прыгает...

После улицы Свердлова мы по Крещатику дальше не пошли — справа увидели станцию метро. А хотел бы я посмотреть на того, кто приехал из Васюковки в Киев и равнодушно прошел бы мимо метро!

Не сговариваясь, как по команде, мы повернули к станции.

На нас сразу дохнуло свежестью и каким-то особым, одному только метро свойственным запахом.

Хотя контролера здесь не было и проходы между специальными тумбочками были гостеприимно открыты, проходить «зайцами» мы и не думали. Пусть кто поглупее это делает, а мы уже один раз пробовали... Как бы скоро ты ни бежал, еще быстрее из тумбочек, где горят приветливые слова «Опустите пять копеек», выскакивают наперехват специальные держакИ, и ты ударяешься в них животом. Так вот!

Мы, как порядочные люди, наменяли в кассе пятаков, кинули и прошли...

«Какие мы все-таки культурные и благородные», — с гордостью подумал я. Знать бы мне, дураку, что в этот миг случится...

— Смотри! Смотри! Старшина Паляничко! — внезапно воскликнул Ява. — Давай догоним!

И только я успел разинуть рот: «Га? Где?» — как он уже помчался вниз по эскалатору.

Впереди на эскалаторе стоял какой-то толстяк с корзинами и мешками наперевес и с новым цинковым корытом в руках. Видно, продал на базаре яйца или еще что-нибудь, накупил товару и ехал домой.

На несколько метров ниже толстяка стояла стройная дивчина с высоченной, похожей на копну сена, прической, — ну прямо кинозвезда. А еще ниже ехал милиционер, со спины и вправду очень похожий на старшину Паляничко, с которым мы познакомились в прошлом году при довольно интересных обстоятельствах. Конечно, здорово было бы с ним снова встретиться и поговорить. Особенно Яве, который с сегодняшнего дня готовит себя в милиционеры.

Я, не раздумывая, захохотал по ступенькам следом за Явой. Яве удалось проскользнуть мимо толстяка, который загородил покупками чуть не весь проход. А я сунулся да и зацепил нечаянно цинковое корыто, которое толстяк поставил рядом с собой и придерживал только двумя пальцами. Корыто грохнулось на эскалатор и полетело вниз.

Бум-бум-бум!.. Раз! — и оно ударило по ногам «кинозвезду». Та не устояла и шлепнулась в корыто. И оно, теперь уже с пассажиром, загремело дальше.

Мы оторопели.

Ослепительно красивая, как кукла накрашенная, «кинозвезда» сидела в корыте и, держась за него обеими руками, мчала вниз по эскалатору.

Молча, без крика, без единого слова. То ли она была уж такая мужественная, то ли, наоборот, онемела от испуга и неожиданности — ей ведь и сообразить-то было некогда, в чем дело.

Еще миг — и милиционер, который еще не успел обернуться и заметить опасность, сбитый с ног, рухнул на эскалатор. А «звезда», не меняя позы, пронеслась мимо.

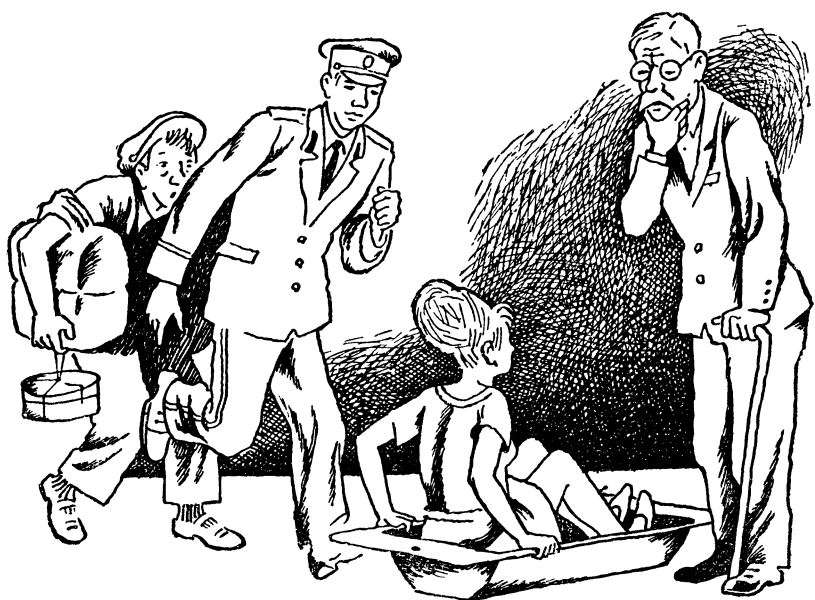
Толстяк тут же рванулся за своим корытом, даже не взглянув на нас с Явой. Он грузно топал по эскалатору со всей своей поклажей, то и дело озабоченно покрикивая: «Поберегись! По-берегись!», как извозчик на базаре, которому не дают проехать, — только вот кнутом не хлопал.

«Звезда», сбив с ног еще несколько человек, вылетела с эскалатора, прокатилась через весь зал и остановилась.

Какой-то интеллигентный дедуня, прямо под ноги которому она подъехала, с удивлением глянул на нее и сказал сурово:

— Что это вы, мадам, развлекаетесь, как ребенок?!

Толстяк все еще грузно топал по эскалатору, хрипло и как-то не очень встревоженно бормоча:



— Мое корыто!.. Мое корыто!..

Сбитый милиционер (теперь мы уже видели, что это никакой не Паляничко) спешил за толстяком, на ходу отряхивая китель, и, неизвестно к кому обращаясь, кричал:

— Минуточку! Стойте! Минуточку!..

Мы продолжали бежать за милиционером. Другого выхода у нас не было. Ведь эскалаторы в метро сделаны так, что по ним можно ехать только в одну сторону,— это тебе не обычная лестница!

На наше счастье, милиционер еще не понял, кто настоящий виновник этого скандального происшествия. Он преследовал толстяка и на нас не обращал внимания. Но скоро он дознается. Еще несколько секунд... Он догонит толстяка, и тот ему... У меня слабеют ноги... Но вот мы уже внизу.

«Кинозвезда», которая только теперь, наверно, пришла в себя, улыбается и, все еще сидя в корыте, бодрым голосом говорит:

— Полет прошел нормально. Чувствую себя хорошо. Невесомость и перегрузки перенесла удовлетворительно.

Вокруг смеются.

Как принимали «звезду-космонавта» милиционер и остальные пассажиры метро, которые веселой гурьбой окружили ее,

мы уже не видели. Опрометью вскочили мы в вагон. Двери за нами захлопнулись, и поезд тронулся.

На следующей станции — «Арсенальской» — мы выскочили и дали стрекача вверх по эскалатору. Мы так спешили, что сердце из груди едва не выскакивало. А там ведь два эскалатора, и такие длинные...

Когда, выбежав из метро, мы свернули во двор большого серого дома и повалились на землю в кустах, весь дух из нас, как говорится, вышел вон... В глазах темно, ни рукой, ни ногой не двинешь. Не то что говорить — мы дышать-то не могли. Ртом только хватали воздух, как рыба без воды. Трехлетняя девчушка и та могла бы с нами справиться — брать за пятки, кидать в торбу и нести на базар продавать по две копейки за штуку. Такая нам была тогда цена.

И только минут через десять...

— Ух! — еле выдохнул Ява.

— Ага, — поддакнул я.

— Тю, — сказал Ява.

— Тьфу, — отозвался я.

И это весь разговор, на какой мы были способны.

И только минут через двадцать мы наконец пришли в себя и смогли обсудить то, что случилось.

— Да... — вздохнул Ява. — Можно сказать, испортил ты мне все дело. А что?! Кто ж меня теперь в милиционеры возьмет?..

— Да иди ты! При чем тут я? — пробовал я оправдаться. — Никто же не видел. И главное, все обошлось... Чего ты?

— Ну да, не видел! И дядька видел, и милиционер. Когда мы за ним бежали, он искоса глянул в нашу сторону... А у милиционера память будь здоров! Профессиональная.

— А-а! — махнул я рукой.

— Вот тебе и «а-а»! Может, нас по его словесному портрету уже и разыскивают. Словесный портрет — это, брат, такая штука... — Ява поднял над головой кулак, что могло означать, какая сильная штука словесный портрет. Про словесный портрет Ява слышался, когда готовил себя в пограничники.

— Да что мы такого сделали?! Ничего ведь страшного! — не столько Яву, сколько самого себя успокаивал я. — Нечаянно зацепили корыто... Ведь не нарочно же...

— Поди докажи, что не нарочно. Дядька первый скажет, что умышленно. Чтoб себя оправдать. И вообще такого, может, за всю историю метро не было. А ты говоришь...

— Не везет нам в метро, — вздохнул я. — И в прошлый раз, помнишь, скандал был, и теперь...

— Закон парности,— вздохнул Ява.

А может, он и в самом деле существует, этот «закон парности», про который не то всерьез, не то шутя говорил мой отец и который будто бы состоит в том, что разные неприятности всегда ходят в паре — как одна случится, жди другой. Недаром же в народе говорят: «И так горе, и так вдвое».

— Это такой проклятый закон... Смотри, чтоб с нами сегодня еще какой-нибудь пакости не приключилось,— сказал Ява и неожиданно улыбнулся.— А все-таки здорово шпарила она в корыте...

— А что! Как в ракете — фить! — и будь здоров! Я бы и сам не отказался, а? — затараторил я, обрадованный, что Ява уже не запугивает меня милицией.

Ява поднялся с земли:

— Ну, так куда теперь пойдем?

Я пожал плечами:

— А куда хочешь! Хоть в веселый городок, хоть в стерео, хоть в зоо...

— Это можно, вот только... — И Ява смолк.

— Что?

— Да если бы... — И снова смолк.

— Ну что?

— Да одним идти как-то... Вот если б разыскать этих... киевских... Игоря, Сашку-штурмана... Они ведь такие ребята классные... — и в небо смотрит, чтоб глаза от меня спрятать.

Гляжу я на него и про себя улыбаюсь. Ну и Ява! Вот уж лис-хитрюга... Ребята, видишь ли, ему понадобились! Ну как же! Да я тебя насквозь вижу. Ты ведь для меня как стеклышко! Я не киевский охотник, которого за нос водить можно. Ведь что было! Охотники из Киева, которые приезжали к нам в Васюковку на охоту и рыбалку, часто просили нас кузнечиков для наживки ловить. Спичечная коробка кузнечиков — пятачок. Так вот я себе ловлю и ловлю в поте лица: нанялся — как проданся. А Ява сена в коробок наложит, сверху несколько кузнечиков сунет и уже бежит менять на гятак. А поймает его на этом деле, он только глазами невинно хлопает: «Ведь нужно же было им корма подбросить...»

Но я-то тебе не киевский охотник!

— Оно бы, конечно, здорово,— говорю,— только где же их найдешь? Адресов ведь мы не знаем... Правда, давала тебе Валька свой адрес. Но ведь ты его, конечно, не сберег... Да оно и смешно было бы — беречь адрес какой-то Вальки.

Ух ты! У Явы щеки так и вспыхнули, как от пощечин.

И что же это такое бывает иногда с людьми? Смотришь — геройский хлопец становится бог знает чем, ботвой

свекольной... И из-за кого? Из-за какой-то цапли в юбке... Тьфу!

В тот раз, когда были у нас приключения с Кнышем и Бурмилом и когда Ява был Робинзоном Кукурузо и бежал в речные плавни на необитаемый остров имени Переекзаменовки, познакомились мы случайно с киевскими пионерами-юннатами. И была среди них одна такая Валька, худая, длинноногая и, по-моему, совсем некрасивая. (Ганя Гребенючка из нашего класса в тысячу раз лучше!) Но это я так считал. А Ява... Ява в присутствии Вальки через две минуты стал не Ява, а свекольная ботва. Когда юннаты возвращались в Киев, Валька оставила Яве свой адрес, чтобы мы написали, чем кончится наша история с Кнышем и Бурмилом, — ее, видишь ли, это страшно заинтересовало.

История с Кнышем и Бурмилом закончилась нашей победой. Мы ходили героями, и Ява несколько раз полушутя, полусерьезно закидывал удочку — написать Вальке письмо. «Тьфу! — сказал я. — Да ты что, спятил?! Я вот, когда в лагере, домой-то пишу редко, а ты хочешь...» Один Ява написать не отваживался. Боялся ошибок наделать. Переекзаменовка-то у него была как раз по языку. Так с письмом ничего и не вышло. Но адрес Ява сберег. Он прятал его на чердаке, и я однажды видел — он перечитывал его как какое-нибудь письмо. Только я ему ничего не сказал...

А когда мы ехали в Киев, я знал, что рано или поздно Ява заведет разговор про Вальку. Но я не думал, что так скоро. И если бы не моя провинность в приключении с корытом, я бы, наверно, так быстро не сдался. Но теперь я обрадовался, что Ява забыл про словесный портрет и милицию, и решил уступить.

— Чего скис? — говорю. — Смотри веселей! Конечно, интересно было бы встретиться и с Игорем и с Сашкой-штурманом, и с Валькой. Они бы нам Киев знаешь как показали! Какой там у Вальки адрес? Я раньше помнил... Улица какого-то восстания?..

— Январского... — буркнул Ява.

— Тю! Да это ж она и есть! Тут возле метро начинается и тянется туда, где Лавра. Айда!

Ява криво улыбнулся.

Глава III

ЯВА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ. УХО

Через несколько минут мы уже были в Валькином доме. Стали искать квартиру — нету! Все здание обошли... На самом верхнем этаже последняя квартира — восемнадцатая, а нам нужна двадцать пятая. Что такое?! Неужели обманула Валька, подшутила, выдуманный адрес дала?.. На Яву было больно смотреть — такой у него был вид. Наконец я решился спросить у какой-то бабуся. Оказалось, есть двадцать пятая, только во дворе, в так называемом флигеле.

— Выдумали какой-то флигель-мигель. Только с панталыку сбивают,— притворно сердясь, бурчал повеселевший Ява.

И в самом деле, во дворе стоял точно такой же, как и с улицы, большой шестиэтажный дом. И что его флигелем называли?!

Когда мы входили в парадное, я заметил, как Ява, проходя мимо старинных стеклянных дверей, на миг задержался, глянул на свое отражение в стекле и пригладил рукой чуб. Я сделал вид, что не вижу.

На третьем этаже мы легко отыскивали двадцать пятую квартиру. На дверях несколько кнопок от электрических звонков — наверно, в квартире много соседей. На лестнице полутемно, и мы встаем на цыпочки, чтобы прочесть надписи под кнопками. Вот... «Малиновским звонить один раз»! Это и есть. Валькина фамилия Малиновская. Точно.

— Звони,— шепчет Ява.

— Ты звони,— шепчу я и неизвестно отчего чувствую холодок в животе.

— Да позвони! Ну ты же выше, тебе удобней,— хитрит Ява.

— Тебе адрес давали — ты и звони! — не сдаюсь я.

— А ну тебя! — сердито шепчет Ява и решительно нажимает на кнопку. За дверями дребезжит звонок.

Ява отскакивает и прячется за мою спину. А мне очень надо! Я тоже отскакиваю в сторону и стараюсь выпихнуть Яву вперед.

И тут случилось что-то невероятное. Из-за выступа стены, как призрак, вынырнул кто-то огромный и здоровенной ручищей схватил Яву за ухо. В то же мгновение хриплый голос так загремел на всю лестницу, что эхо вприпрыжку поскакало вниз по ступенькам.

— Ага! Попался! Попался наконец!

Не говорю уж про Яву, которого трепали за ухо, я и сам-то от неожиданности прирос к месту и не мог шевельнуться. А грозный голос продолжал греметь:

— Так вот кто хулиганит! Вот кто звонит и убегает!.. А бедная бабушка должна бить старые ноги, попусту выходить открывать?! Вот мы сейчас с вами поговорим!

И тут же из-за дверей послышался звонкий Валькин голос:

— Кто там?

Ой-ой-ой! Я бросил на Яву панический взгляд. Ява собрал все силы и так отчаянно рванулся, что даже если бы ему пришлось оставить ухо в дядькиной руке, он все равно бы вырвался. Да что ухо! В тот момент Ява готов был отдать полголовы, даже полтуловища, только бы вырваться, убежать хоть с тем, кто останется, подальше от Валькиных глаз.

Да вы сами подумайте: в первую минуту свидания, которого вы так ждали, ваша Валечка видит (боже ты мой!), что какой-то здоровенный громила держит вас за ухо, как паршивого щенка. А вы, склонивши голову, жалко висите на своем ухе, даже не касаясь земли. Вы, который столько мечтал о той торжественной, волнующей минуте, когда откроется дверь... Она станет на пороге, и вздрогнут от радостного удивления густые ресницы, и засияют очи, и вспыхнут румянцем щеки. И она скажет: «Ой!», а потом: «Ах!», а потом: «Здравствуй, здравствуй! Это ты? Как я рада!» И все будет так прекрасно...

А вместо этого...

Как выстреленные из пушки, мы прогрохотали по лестнице вниз, выскочили во двор, потом на улицу и целый квартал бежали что есть духу, не оглядываясь. И только когда убедились, что за нами никто не гонится, отдуваясь, перешли на шаг.

Мы шли не разбирая дороги, шли и молчали.

Из Явиных глаз бежали слезы. Он морщился и отворачивал от меня лицо. Но я все понимал. Это просто механически... Просто ухо каким-то образом связано с тем органом, который вырабатывает слезы. И если ухо сильно покрутить, то слезы потекут сами собой. И это не означает, что человек плачет. Ява никогда не плакал!

Ухо у Явы вспухло, увеличилось вдвое и пылало, как мак.

Конечно, с таким ухом снова пробиваться на свидание нечего было и думать.

Мы хорошо понимали, что случилось. Произошло ужасное недоразумение: видно, какой-то шалопут развлекался тем, что звонил в квартиры и убегал. А мужчина, случайно

подойдя и заметив нашу мельтешню возле дверей после того, как мы позвонили, решил, что мы хулиганим. Мы понимали, что произошла ошибка, но нам от этого легче не было. Особенно Яве. И не столько из-за уха, сколько оттого, что с Валькой не встретился и теперь, кто знает, встретится ли вообще.

Я боялся, что он во всем будет обвинять меня: ведь если б я сразу позвонил, как он просил, и если б не стал его выпихивать вперед, может, ничего бы и не было. Но Ява проявил благородство, он ни о чем не говорил, только иногда смахивал слезы.

Мне хотелось его развеселить, но я долго не мог придумать, как это сделать. Наконец я сказал:

— Эх, подловить бы это хрюкало, из-за которого нам попало, и зазвонить бы ему в ухо так, чтоб у него отпала охота звонить куда не надо, чтоб у него три дня в башке звенело! Тогда бы знал, как шkodить. Эх бы я ему дал!..

Но мое отважное настроение на Яву не подействовало. Я сокрушенно вздохнул.

Мы прошли парками над кручей, перешли через мостик и вышли к кинотеатру «Днипро».

— Во!— радостно воскликнул я, как мореплаватель, который увидел землю.— Давай в кино сходим! Тетя же нам специально денег на это дала. Айда!

Но Ява, отвернувшись, угрюмо буркнул:

— Не хочу!

— Ну и зря,— сказал я.— Чем красоваться с таким ухом на людях, лучше часа полтора посидеть в темноте в кино. А за это время ухо станет нормальным.

Все так же не глядя на меня, Ява буркнул:

— Идем!

Я мигом бросился в кассу за билетами...

Смотрели мы «Семеро смелых»— героический фильм про полярников. В картине все время безумствовал буран, и герои, обвешанные с головы до ног ледяными сосульками, мужественно хекая, карабкались на ледяные горы, проваливались в снег и тащили друг друга на плечах. Это немного ободрило Яву. Когда мы вышли из кино, у него в глазах уже не было такой безнадежной грусти и отчаяния, как раньше, хотя ухо еще имело не очень хороший вид.

Я чувствовал в животе неприятную сосущую пустоту— хотелось есть, и я надеялся, что мы сейчас поедем домой. Но Ява и слышать об этом не хотел— боялся, что тетя начнет допытываться. Чудило! Легко ведь можно что-нибудь придумать: упал и ушибся, или в переполненном автобусе

дверями прищемило, или еще что-нибудь. Разве мало несчастных случаев может произойти с человеком в таком большом городе, как Киев? Но переубедить Яву я не мог. Мы спустились вниз к Крещатику. У Владимирской горки, там, где павильон «Мороженое», Ява остановился. Осторожно взявшись рукой за ухо, он страдальчески глянул на меня и сказал:

— Если холодное приложить, может, и полегчало бы... А? Как думаешь?

Я потрогал у себя на груди и пожал плечами. Я знал, на что он намекает. Теткины деньги мы уже истратили на кино. Но у нас еще были деньги. У меня на груди в потайном кармане в подкладке лежала трешка. Мы копили ее целых полгода и возлагали на нее большие надежды. Договорились тратить ее только на что-нибудь уж очень интересное или на запретные удовольствия, на которые денег тетя не даст, — на полет над Киевом на вертолете или на фильм, на который дети до 16 лет не допускаются... А из-за того, что характер у Явы не такой серьезный, как у меня, и он может ухнуть эту трешку за полчаса, мы решили, что храниться она будет у меня и тратить ее будем только с общего согласия.

И вот Ява намекает, чтобы взять из трешки на мороженое. Мороженого и мне хочется, но мы ведь не на мороженое ее берегли... А Ява сегодня пострадал, вон как за ухо держится! И глаза у него, как у цуцки, которому прищемили хвост. Я вздыхаю и решительно направляюсь к павильону. Ява за мной. Садимся за столик и заказываем по сто граммов самого дешевого — сливочного. Подумаешь, тринадцать копеек порция! Не обеднеем...

Мы едим сосредоточенно, причмокивая и облизывая ложечки. Время от времени Ява прикладывает холодную ложечку к уху. Но что такое сто граммов! Через три минуты мы уже сидим перед начисто вылизанными чашечками, в которых, как в зеркале, отражаются наши поникшие носы. Ява печально щупает свое ухо. Ухо требует жертв. Я облизываю сладкие губы и с отчаянной решимостью (как с моста в воду) заказываю две порции пломбира.

Ох и вкусное же мороженое в Киеве, ох и вкусное!!!

Вы думаете, на пломбире Явино ухо успокоилось? Ничего подобного. После пломбира было шоколадное, потом фруктово-ягодное, потом ореховое. И к каждой порции прибавьте еще по стакану газировки с сиропом. Дорого обошлось нам Явино ухо! Разошлась вся наша трешка. Остались жалкие копейки. Я чуть не плакал, когда расплачивался.

Мы вышли из павильона пошатываясь.

Потом целых полчаса сидели на лавочке у павильона и молчали. Блаженствовали. Вот если бы каждый день обедать мороженым! И завтракать мороженым, и ужинать!

Вдруг Ява посмотрел налево и сказал:

— Ты думаешь, что там такое?

— «Чертово колесо»,— говорю.

— Так чего же мы сидим?

— Идем.

— А деньги у нас есть?

— Да на это еще найдется.

Уж на что, на что, а на «чертово колесо» я и последнего не пожалею! Это же мне просто необходимо. Ведь я же собираюсь в летчики...

Мы как раз вовремя подоспели. Последняя кабина была свободна. Только мы сели, колесо тронулось. И-их ты! Ух и здорово! Поднимаемся-поднимаемся-поднимаемся... И все у тебя внутри уходит вниз. А потом опускаемся-опускаемся-опускаемся... И все у тебя внутри уходит вверх. Ну прямо как на самолете! Вверх—как высоту набираешь. Вниз—как на посадку идешь. (Я же все-таки летал—что вы думали!—на «кукурузнике» сельхозавиации, который наши поля опрыскивал.)

Да еще стоит колесо на высокой круче над Днепром. И видно с него далеко-далеко, как с самолета. Внизу Подол, и Днепр, и ширь Левобережья, которое до самого горизонта простерлось. А вон Труханов остров... Пляж. Ну и людей же там! Песка даже не видно. И ступить-то, наверно, некуда. Как они там не раздавят друг друга! Ого! А это что такое, между деревьев?.. Держите меня! Да это... парашютная вышка! Ну точно! Она!

Вот бы мне с этой вышки прыгнуть! Мне просто нельзя не прыгнуть. Летчику с парашютом прыгать—все равно что моряку плавать.

— Явочка!—говорю.—Видишь вон ту вышку? Давай с нее прыгнем!

— Давай! А что?—сразу соглашается Ява. Он хоть и не собирается в летчики, но с чего-нибудь прыгнуть, куда-нибудь кинуться или выкинуть какую-нибудь штуку он всегда «за»!

Глава IV

ПЛЯЖ. КАРУСЕЛИ. УТОПЛЕННИК. НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ

И вот мы бежим по лестнице из «Городка развлечений» вниз к набережной. Хорошая лестница. Только слишком длинная. Хоть и вниз бежишь, а все равно запыхиваешься.

— Чего бежать? Не успеем, что ли?— говорю, а сам думаю: «Нужно силы для прыжка берець. Кто знает, как оно там будет? Все-таки первый раз!»

Сбавили мы скорость. Пошли шагом.

Внизу не то ворота, не то беседка — что за штука? И на ней огромная колонна с какой-то бабалухой на конце.

— Постой,— говорит Ява.— Тут что-то написано.

Ява любит читать всякие исторические и мемориальные надписи. Подходим. К стене прикреплена мраморная досочка:

ПАМЯТНИК
В ЗНАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КИЕВУ
МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА
Сооружен в 1802 году

Архитектор
А. И. МЕЛЕНСКИЙ.

Вот никогда бы не подумал, что это памятник! Ведь памятник — это или конный или пеший, но всегда какой-нибудь герой... полководец или гений. А тут какое-то Магдебургское право! Ну и ну!..

Надпись на мемориальной доске была не единственной. Кроме нее, еще было много надписей. Но уже от руки и значительно более позднего происхождения. Все «Магдебургское право» было густо исписано довольно-таки однотипными формулами: «Коля + Оля = любовь», «Вася + Тася = любовь», «Юра + Нюра = любовь» и т. д.

А один какой-то намалевал во-о-от такими буквищами свою формулу, аж метра на три от земли: «Жека + Лёха = любовь». Наверно, ему пришлось принести для этого из дому стремянку. Ведь не могло же у него быть такое длинное тело! По-человечески его, должно быть, звали Алеша, а ее Женя; писал он по-русски и не знал, дурачок, что по-украински «леха» — «свинья». И вышло, что он сам себя обозвал свиньей.

То, что никто из них не имел пятерки по чистописанию,

было сразу видно — таких кривулей они навыводили. И еще было ясно, что друг друга они, может, и любили, но больше не любили никого, потому что так испоганили памятник — смотреть тошно.

— И зачем только их грамоте учили! — с чувством сказал Ява.

«Смотри ты, какой правильный! А не ты ли, дорогой Явочка, писал мелом на сарае за школой разные лозунги против завуча Саввы Кононовича?» — подумал я. Но сказать не сказал. Ведь и сам я был грешен: писал на заборе всякие глупости. А ведь это вон как нехорошо. Больше не буду!

Исполненные благородных чувств, мы направились к пешеходному мосту, что ведет на Труханов остров. По мосту непрерывным потоком шли люди. Куда ж это они? Там ведь и так ни статья, ни сесть... Ох, не иначе, как раздавят там кого-нибудь сегодня. Не иначе, как будут жертвы!

Жертвы... Чем ближе мы подходим к парашютной вышке, тем сильнее шевелится в моей груди что-то паршивое-препаршивое, скользкое и холодное. Высока все-таки, холера!.. Это тебе не ива, с которой мы в речку ныряем. Если не раскроется парашют, то только — ляп! — и квакнешь...

Интересно, бывает так, что не раскрывается парашют на парашютной вышке?.. Бывают ли там несчастные случаи? И жертвы...

Мы перешли мост, свернули влево, к вышке. Интересно, о чем сейчас думает Ява? Что-то очень уж бодро он идет, очень уж бодро. Так серьезные люди не ходят в первый раз с парашютом прыгать.

Приглядываюсь я к парашютной вышке. Что-то не видно, чтобы кто-то с нее прыгал. Может, уже сегодня была какая-то жертва... А мы, два дурака, идем...

Умные люди вон в пинг-понг играют, в настольный теннис — совсем безопасная игра, полностью гарантирует жизнь. Стоит двадцать столов, и белые пластмассовые шарики так и скачут по ним, как пузыри во время дождя...

А вот и парашютная вышка. Ты смотри — нет ничего. И парашюта не видно. А канат, на котором он должен висеть, заброшен куда-то наверх.

Недалеко от вышки сидел под деревом какой-то полуголый пожилой дяденька в парусиновых брюках. Уже то, что он был не в трусах, а в брюках, заставило меня подумать, что это кто-то из администрации.

Я подошел и спросил:

— Скажите, пожалуйста, а вышка разве не работает?

Дяденька взглянул на меня и хмыкнул:

— Чего ж не работает? Работает. Только видишь — нет парашюта. Кто-то украл, говорят. А без парашюта с нее прыгать опасно. А впрочем, попробуйте, хлопцы. Я вижу, вы такие герои, что вам и парашют не нужен.

Мы поняли, что дяденька шутит. Ну конечно же, не работает вышка, не работает... Ур-р...

— Вот жалость, — сказал я.

Рядом с вышкой была карусель. Я сначала подумал — карусель как карусель, обычная. А потом присмотрелся — э, нет, не совсем обычная. На высоком железном столбе огромное колесо, а к тому колесу на длинных цепях сиденья подвешены. Крутится колесо, и сиденья крутятся, в сторону отклоняясь, — вроде того, как консервную банку на проволоке над головой раскручивать.

Глянул я на Яву:

— Давай?

— Давай.

Выскребли мы последние копейки. Заплатили. Сели. Поехали! Сперва потихоньку-потихоньку. Потом все быстрее, быстрее...

— Ого-го-го-го-о!.. — кричу я.

Радость рвется наружу. Ну и лихая карусель! Совсем ты как птица летишь по воздуху, как будто и не держит тебя ничто... Ух-ух-ух!..

— Др-р-р-р!.. — Это я. Рокот мотора изображаю. Будто лечу на сверхзвуковом истребителе. — Та-та-та-та-та-та!.. — из пулемета стреляю по Яве.

Ява оборачивается и тоже:

— Та-та-та-та-та!..

— Иду на таран! — кричу, подлетаю к Яве — шарах его сзади! — и он отлетает от меня. А потом подлетает и — шарах меня! — и я отлетаю...

И-их!.. Вот карусель! Ну и карусель! И никаких тебе несчастных случаев! Никаких жертв! Цепь такая, что вола выдержит.

Вот так бы летал и летал... Целый день бы летал...

А тут вдруг тише... И еще тише... И совсем — стоп!

— Приехали! Вылезайте!

— Тю! Так мало?

— Если хотите еще, пожалуйста — платите деньги и карусельтесь сколько вам влезет.

Де-е-ньги! Где же нам взять эти деньги, если они вот тут, в животе! И зачем мы столько мороженого слопали! Мы ведь могли меньше на две-три порции! Как раз бы на карусель. А теперь из-за этого паршивого мороженого приходится от-

казаться от такого для меня необходимого, такого летческого развлечения.

Эх, дурак я, дурак! Ну, у Явы ухо, ему нужно! А я чего? Чего я-то? Вот бы на мне и сэкономить. Пусть бы Ява один ел. Мороженого и в Васюковке сколько хочешь. А такую карусель когда еще поставят? Я уж к тому времени и вырасту...

Ява, видя мое настроение, сочувственно вздыхает и говорит:

— Идем хоть искупаемся...

— А!— машу я рукой.— Что мне купаться! Что я, в Киев купаться приехал? Я дома во-о как накупаться могу... Да и где тут купаться? Среди людей, как в лесу, заблудишься. До воды не доберешься. Да и воды уж у берега не осталось — одни люди...

Но это я только так сказал, чтобы досаду на чем-то сорвать. Быть на киевском пляже и не искупаться мог только какой-нибудь хворый или ненормальный. Особенно в такую жару. И вот стали мы пробиваться к воде.

Я не могу себе точно представить, что такое миллион человек. Но уж если представлять, то, пожалуй, нужно вспомнить киевский пляж. По-моему, там было не меньше! Кто не верит, пусть проверит.

Это было похоже на какой-то гигантский базар. Только разве что все голые и не торгуют. Никогда я не видел столько голых людей сразу. Ну, приходилось видеть одного, двух, трех... Ну, два-три десятка — в бане. А тут миллион голых! Даже не верится, что такое бывает.

Древние люди, которые адское пекло выдумали, были просто без всякой фантазии. Разве ж у них пекло?! Вот киевский пляж в жаркий выходной день — вот это пекло! Уж тут и вправду пекутся и жарятся на солнце. Половина людей лежит нагишом молча, без движения, закрыв глаза, как мертвые. Лишь по тому, как колышутся их животы, можно понять, что они еще живы, еще дышат. Другая половина непрерывно что-то ест — жует, глотает, чавкает, пьет молоко из треугольных пакетов, пиво и лимонад из бутылок.

Кажется, что эта половина пришла на пляж специально, чтобы поесть. И только небольшая частица людей барахтается в воде. Но и этой небольшой частицы достаточно, чтобы вытеснить телами половину воды из Днепра. Еще одна незначительная частица все время куда-то идет. Идет, переступая через тела, наступая на чьи-то ноги, руки, головы и на другие места. Но и этой незначительной частицы достаточно, чтобы создать впечатление вокзальной толкучки. А вон —

хоп! хоп! хоп!— под деревьями волейбол. Стоят в кружок и лупят по мячу. И нет того, чтобы нормально играть, а всё стараются так, чтобы кому-нибудь в голову угодить. Разноцветные мячи не столько в воздухе летают, сколько по песку катаются, через людей перескакивая. Такой уж это пляжный волейбол.

А вон «геркулесы» ходят, важничая, то и дело напряжённая мышца и грудь колесом выставляя. И у каждого на руке номерок на резинке от гардероба, будто все «геркулесы» кем-то пронумерованы.

— Здорово, Гарик!

— Привет, Шурик!

— Чао, Марик!

Эти «геркулесы» друг с другом здороваются, не останавливаясь и не поворачивая головы, чтобы не утратить стройность фигуры. И все эти пронумерованные марики, гарики и шурики, похожие своей важностью на индюков, отличались от остальных людей тем, что были разрисованы татуировками. Татуировки были у них где хочешь — на руках, на груди, на ногах и даже на спине. И что только не было выколото! И корабли, и орлы, и звери, и женщины, и кинжалы, и разные мудрые изречения, например: «Смерть за измену», или что-нибудь в этом роде. Это во-первых. А во-вторых, у всех что-нибудь висело на шее. Какая-нибудь цепочка, а на ней или подковка, или бляха, или какая-нибудь женская брошка, или ключ, или даже... крестик. И чудно было видеть этот крестик на груди, где выколото пиратский корабль, кинжал да еще и «Смерть за измену». Ясно, что этот крестик ничего общего с богом не имел, что это было просто модно.

«Чего доброго, у них еще и поповская ряса в моду войдет,— подумал я.— И будут ходить тогда киевские гарики в поповских рясах по Крещатику...»

А вон какой дядька чудной. Там, где у людей волосы (на голове, например), у него лысина, а там, где у всех голо (на спине, например), у него густая рыжая шерсть, как у медведя. А он лежит, загорает. Вот чудак! Ну как же ему загореть? Солнце ведь к телу сквозь этот мех не пробьется!

А вон старикан какой! Из воды выскочил и ну гимнастику делать: и приседает, и на руках от земли отжимается, и подпрыгивает, как хлопчик. Сам худущий, сверху лысина, а по бокам головы длинные волосы до самых плеч. И улыбается во весь рот, подмаргивая кому-то. Ну и дед!.. Тю! Вы гляньте только, что там делается! Старая бабуса, седая и сморщенная, в теннис... или, как его, в бадминтон ракеткой вымахивает. Так вымахивает, аж в глазах рябит. Ого-го! Интересно

было бы посмотреть на нашу бабу Триндичку с такой ракеткой. Все село бы сбежалось. А тут никто и внимания не обращает.

Интересные старики и старушки в Киеве. Какие-то ребячливые. Будто старые дети. А молодые парни наоборот. Вон идут двое. Ну, лет по двадцать, не больше. И оба с бородами. Чудеса!

А вон какая-то тетя спит под деревом. Завернулась с головой в одеяло и храпит. И чего она на пляж пришла, непонятно. Дома под одеялом лучше выспаться можно.

А сколько детей! Сколько детей на пляже! Только и слышишь:

— Сема, выйди из воды! Выйди из воды, Сема!

— Галочка, не заплывай! Плыви назад!

— Саша, где твои тапочки? Где твои тапочки, я спрашиваю!

— Алик,ними мокрые трусы.

— Толя, отдай ему мяч. Толя! Это ж не твой мяч, это его мяч.

— Яша, за такую вредность ты больше купаться не будешь. Не будешь... за вредность.

— Фаня, ты опять насыпала песку в мои туфли? А ну-ка высыпь сейчас же!

— Деточка, ну съешь яичко! Одно только яичко!— говорит толстая тетя в полосатом купальнике, протягивая облупленное яйцо щекастому здоровяку лет двенадцати.

Тот воротит нос и морщится — не хочет.

— Деточка, ну съешь, прошу тебя!— умоляет тетя.

А из воды восторженно верещит худенький, как воробей, мальчишка лет шести:

— Мамо, вода! Мамо, Днипро! Мамо, я купаюсь! Мамо, вода! — как будто он никогда в жизни воды не видел и не купался никогда.

Мы подошли к самой воде и начали выбирать место, где можно положить вещи, когда разденешься. Между прочим, глядя на Днепр, который кишел людьми, я подумал: «Вот если б кто-нибудь тонул, а мы бы его спасли! Лучше бы, конечно, чтобы какой-нибудь ребенок тонул — легче спастись...»

Это была наша постоянная, пока еще не осуществленная мечта — кого-нибудь спасти и вообще стать героями. Особенно хорошо было бы вот так, при всех, чтоб видели... Чего бы вон тому шустрому пискуну не забулькать, например... Мы бы его в миг — раз! — и будь здоров. И в «Вечернем Кие-

ве» на следующий день заголовок: «Юные герои из Васюковки».

— Из «Вечернего Киева» как раз интересовались вчера...— услышал я вдруг веселый голос. И вздрогнул: уж не подслушал ли кто-нибудь мои мысли?

Нет, это просто разговаривали двое мужчин. Один, невысокий, круглолицый, стоял по колено в воде. Другой, широкоплечий, с крючковатым носом, стоял на песке у самой воды. Он был уже одет (возможно, шел домой), но еще не обулся — ботинки держал в руке.

— Все расспрашивали про роль царя,— продолжал круглолицый.— Нет, отвечаю, нечего еще говорить. Как будет готово, тогда и приходите.

— Правильно,— поддержал горбоносый.— Никогда не нужно рассказывать заранее. Я терпеть не могу, когда вот так делятся творческими планами, обещают, берут обязательства, а потом... пшик!— и ничего нет. Ну, ни пуха ни пера! Я побегу, а то уж и так на радио запаздываю... Бывай! Привет Галинке. Я забегу на днях... Дом я помню... А квартира, если не ошибаюсь, тринадцатая? Так?

— Так-так! Тринадцатая! Заходи обязательно! Бывай!— радостно улыбаясь, крикнул круглолицый, а когда горбоносый отошел, негромко, но так, что мы слышали, буркнул:— К черту!

Мы с Явой переглянулись и заулыбались. Мы знали, что когда говорят «ни пуха ни пера», нужно посылать к черту, но чтобы это делал взрослый, в первый раз слышали.

Круглолицый артист сделал торопливо несколько шагов, собираясь нырнуть, и вдруг остановился, вскинув руки:

— Ух ты! Часы забыл снять!— Обернулся, увидел нас:— Хлопчики, будьте добры, положите вон там, на серые брюки, чтобы мне не возвращаться,— и протянул часы.

Я стоял ближе к нему, я и взял. А артист сразу — бух в воду! И поплыл кролем, вспенивая воду ногами, как моторная лодка. Здорово плавает... Несколько секунд мы смотрели, как он плывет. И вдруг где-то слева раздался вопль:

— Утонул! Утонул!.. Утопленника вытащили!

— Где? Где?— так и подскочили мы.

И кинулись туда, куда уже бежали люди.

А что? Если бы при вас закричали «утонул», вы бы разве стояли на месте? Тем более, если вы только что мечтали кого-нибудь спасти! Да и к тому же еще учтите, что вы никогда не видели настоящего живого утопленника... То есть не живого, конечно... а вообще... ну, одним словом, утопленника.

— Где? Где? Где?— шныряли мы среди людей, стараясь что-нибудь увидеть.

Но люди стояли плотно, и никакого утопленника не было видно.

Тогда мы бросились на четвереньки — и между ногами, между ногами, как щенята... Наконец увидели. На песке лежал навзничь кто-то огромный и длинный, а на нем верхом сидел худенький и остроносый, уже немолодой человек с кустиком седоватых волос на груди. И делал искусственное дыхание. Раз! Два! Раз! Два! Методом Сильвестрова.

— Теперь дайте мне,— сказал загорелый крепыш-спасатель, который только что подплыл на своей лодке. Видно, ему было очень неловко из-за того, что не он вытаскивал утопленника, а самый обыкновенный человек, да еще и такой неказистый...

Мы пригляделись к утопленнику. Это наверняка был один из тех самых гариков-мариков, потому что на шее у него висела на цепочке подкова, а на руке было выколото сердце, пробитое стрелой, и под ним изречение: «С юных лет счастья нет».

Дважды сменялись остроносый со спасателем, а утопленник все не оживал. В толпе гомонили:

— Такой молодой...

— Вот беда!

— Да как же это случилось?!

— Говорят, заплыл за буюк, а там его то ли судорога схватила, то ли еще что...

— Ох уж этот Днепр, сколько он жизней унесит!

И вдруг утопленник открыл глаза. В толпе возбужденно загудели.

Утопленник поднял голову, обвел людей мутным взглядом и оперся на локти. Остроносый, который как раз делал ему искусственное дыхание и сидел на нем, втянул носом воздух, поморщился и воскликнул:

— Так он же пьяный!

Спасатель тоже наклонился к утопленнику:

— Ну точно! Разит, как из бочки!

— Ах ты черт!

— Ну и сукин сын!

— Нализался — и в воду...

— В такую жару пить — гробовое дело!

— Вот тебе и судорога...

— Такой молодой!— слышалось вокруг.

Остроносый, все еще сидя на воскресшем пьяном «утоп-

леннике», смотрел-смотрел на него, а потом поднял руку и — хлоп! хлоп! — ему по морде, аж зазвенело.

— Правильно!

— Так его!

— Чтоб знал, как пить! Как людей нервировать!

— Думали, несчастная жертва, а он...

— Еще ему! Еще!

— И мы добавим!

Настроение у толпы сразу изменилось, напряжение спало.

Остроносый резко поднялся, перешагнув через «утопленника» и пошел прочь. Толпа расступилась перед ним, давая дорогу.

— Ничего, мы его в вырезвитель отвезем, там с ним поговорят, — бодро сказал спасатель, беря «утопленника» под мышки и ведя к лодке. — Ты бы хоть спасибо сказал человеку, который тебя вытащил!

— Хоть бы фамилию узнал!

— Думаешь, легко было ему такого бугая из воды тащить! — кричали вслед «утопленнику». Но тот только глуповато таращил глаза — видно, еще не очухался. Лодка отчалила, все стали расходиться.

— Ой! Нужно ведь часы положить! — спохватился я, только теперь обнаружив, что все еще держу их в руке. Кинулись мы с Явой назад. Туда-сюда... А где же серые брюки? Нет их. Может, не тут, может, левее?.. И там нет... Что такое? Дядя, где вы? Мелькают перед глазами сотни лиц — и все незнакомые. Кажется, не тут... Дальше... Ой, нет!.. По-моему, назад... Нет, нет, вперед... Нет, я тебе говорю — назад... А может, правда, вперед? Бегаем мы взад и вперед, не можем найти ни места того, ни артиста, ни серых его брюк... Да и как же его найдешь, если всюду и песок одинаковый, и люди одинаково голые, никаких особых примет!

Ох, и зачем нам нужен был этот пьяный «утопленник»?! Что теперь будет?!

— А ну, Ява, давай в воду! Может, тот артист еще плавает.

Разделся Ява — бултых в реку.

А я на берегу. Далеко отбегать не решаюсь, чтоб хоть Яву не потерять. Но все время ищу — людям в лица заглядываю...

Через полчаса вылезает Ява из воды. Отдувается устало:

— Нету...

— Может, он... утопился? — растерянно говорю я.

— А брюки? Брюк же нет... А поплыл он без брюк... —

уверяет меня Ява.— Да и плавает он так, что море тебе переплывет и не утонет.

— Что же делать?

— А я знаю?

Такая досада меня взяла — хоть плачь. Хороший, симпатичный человек дал мне часы. «Будь, говорит, другом, положи на мои брюки, чтоб мне не вылезать». А я... друг называется! Забрал часы и — фить! — ищи ветра в поле.

— Ява, ведь получается, что я стянул эти часы, — сказал я, скривившись.

Ява пожал плечами.

Никогда в жизни я не был так себе противен, как сейчас. Конечно, бывало с нами всякое... Трясли мы иногда дикую грушу у соседки бабы Насти, у Кнышихи. Так там этих груш бывало столько, что они все рвано гнили в траве неубранными. Да и баба Настя такая скряга, такая вредина была, что от нее вся наша улица стонала. И потому трясли мы эту грушу не столько из-за паршивеньких дичков, сколько в знак протеста против жадности ее хозяйки.

А то еще, когда был маленьким, стащил у тети пирожок с маком. Так ведь это же у родной тети, и какой-то там пирожок... А то у чужого человека, и не пирожок, а часы, дорогую вещь...

А мы-то собирались воров ловить! Как же ловить, если сами... воры!

Мне хотелось встать и со слезами в голосе крикнуть на весь пляж: «Товарищи милиционеры! Берите меня за шкуру и ведите в отделение. Я вор! Я украл часы у хорошего человека, который поверил в мою честность. Берите меня, товарищи милиционеры!»

Но я не встал и не крикнул. Потому что не было, на мое счастье, поблизости ни одного милиционера. А может, и был, да только голый. А разве узнаешь милиционера, если он голый! Да и вообще, голый милиционер — это не милиционер. Никакого трепета перед голым милиционером не испытываешь. Вот, скажем, товарищ Валигура, милиционер, который живет у нас в селе. Его, например, местный пьяница Бурмило признает только тогда, когда тот одет по всей форме. А когда, бывает, возится милиционер у себя в огороде без фуражки и без кителя, в одних галифе, и в это время позовут его люди утихомирить Бурмила, и Валигура придет в чем был, то Бурмило на него и смотреть не хочет, только злится:

«Кто еще такой? Тьфу! Не знаю тебя! Уходи отсюда! Пшел! Тьфу!»

Но стоит только Валигуре надеть милицейский китель и

фуражку, как Бурмило сразу становится смирным, как овца, и говорит: «Извините, гражданин начальник», и идет домой спать.

Нет, голый милиционер — это не милиционер...

— Знаешь что?— сказал Ява.— Так мы артиста все равно не найдем.

— Так что — в милицию?— перебил я его, чувствуя холодок под сердцем.

— Угу!— хмыкнул Ява.— Нас там как раз дожидаются. Иди! Будь добр! И передай привет подбитому милиционеру.

— Так что же теперь?— спросил я, чуть не плача.

— Мы как сюда пришли? По мосту. А назад люди идут? Тоже по мосту. Другой дороги нет. Так вот, сядем у моста и будем ждать. Или мы его увидим, или он нас. А с пляжа он еще не ушел. Точно! Куда он без часов пойдет?

«Ну что ж,— подумал я.— Может, и правду говорит Ява. Лучше, наверно, возле моста сидеть, чем, высунув язык, бегать по пляжу». Сели мы возле перил: Ява — с правой стороны, я — с левой. Сидим. Уж солнце на закат повернуло. Потянулись люди с пляжа домой. Плотной стеной, почти впритирку друг к другу идут и идут... Аж глазам больно... И голова кругом идет. Разве заметишь кого-нибудь в такой толпе? Одна надежда, что нас заметят.

И такой у меня несчастный вид был, что какая-то женщина внезапно нагнулась ко мне, проговорив: «Бедный ребенок», и неожиданно сунула в руку три копейки. Меня всего так и передернуло — она решила, что я побираюсь. Опомнился я — женщины уж и след простыл. Так и остался я с тремя копейками... До чего я дошел, просто беда!... Хорошо, хоть Ява не знает: из-за людей нам друг друга не видно. Вскочил я тут же и теперь уже стоя смотрел, а руки за спину спрятал, чтоб снова, не дай бог, не пожертвовали.

Стемнело уже. Людей все меньше и меньше становится. А артиста нет.

Урчит у меня в животе от голода. Мы ведь, кроме мороженого, ничего не ели. Подошел ко мне Ява:

— Ну и олухи мы с тобой! Что мы тут стоим? Он артист? Артист. Так пойдем завтра по театрам и найдем его. Тем более, мы знаем, что он царя играет.

Тю! И как я сам до этого не додумался? Вот Ява! Ну и молодец! Варит у него котелок все-таки! Башковитый хлопец! Ну конечно, пойдем завтра по театрам (в Киеве каких-нибудь пять-шесть театров) и найдем нашего артиста, и отдадим ему часы, и расскажем все, как было, про утопленника и про все остальное.

Как хорошо живется на свете, когда найден выход из безвыходного положения!

— Ну давай хоть рассмотрим хорошенько, что за часы,— сказал Ява.

Стали мы под фонарем (уже и фонари зажгли!), давай разглядывать.

Хорошенькие часики! Круглые и плоские, как пятак. На черном циферблате вместо цифр черточки золотые. И стрелки золотые. И этих стрелок не две, а целых три. Третья, длинная и тонкая, как волос, по всему циферблату бежит — секунды отмеряет. Красивые часики. Мы таких еще и не видели.

— А ну,— говорит Ява,— примерь.

— Не хочу.

— Чего там! Раз ты все равно как вроде бы украл их, то хоть примерь, хоть поноси немного. Завтра уж не придется.

— Не хочу я чужие часы носить.

— Ишь какой гордый — без хлеба на воде и от хлеба отказывается... Ну, раз ты такой гордый, давай я поношу.

И он взял у меня часы, и надел на руку, и сразу стал на пять лет старше. Даже лицо у него стало строже и серьезнее. Он шел и гордо нес руку с часами, отставив ее в сторону, прямою и негнушующюся, как палка, и все искоса поглядывал на нее. Иногда он сгибал ее в локте и подносил к глазам — смотрел, который час. А меня не замечал и не говорил ни слова, будто меня и на свете не было.

И стало мне горько и досадно, что сам я не надел часы. Часы ведь, можно сказать, «мои», я муки душевные за них принял... А носит их Ява, да еще и бахвалится, сатана!

Когда мы прошли всю набережную и очутились у моста имени Патона, я наконец не выдержал и сказал:

— Хватит! Снимай! А то еще... испортишь, а мне отвечать.

Вздохнувши, Ява неохотно снял часы и снова стал на пять лет моложе и такой же несолидный, как и был.

Я спрятал часы в карман и только тогда успокоился. Потом вспомнил:

— Я же забыл тебе сказать... на мосту мне какая-то тетка три копейки дала.

— Да?— встрепнулся Ява.— Так чего же мы пешком идем! Надо было на трамвае ехать. А то я уже еле ноги тащу.

— Так это же милостыня, балда! Кто же на милостыню в трамвае ездит!.. Тетка мне милостыню подала, понимаешь, думала, что я нищий.

— Вот как! Интересно! — взял наконец в толк Ява.— И что же ты с ними делать будешь?

— Так вот я и не знаю...

Действительно, положение было дурацким. Взять себе? Ни за что!.. Выкинуть? Деньгами только господа капиталисты швыряются. Думали мы с Явой, думали и, наконец, придумали — отдать настоящему нищему, как только встретим...¹

— А с часами-то как интересно вышло!— с жаром сказал Ява, и в глазах у него вспыхнул охотничий блеск.— Вот здорово! Прямо как преступника искать! Между прочим, очень важно, что мы знаем, где он живет. В тринадцатой квартире...

— Ужасно важно!— хмыкнул я.— Ты знаешь, сколько в Киеве тринадцатых квартир? Чтоб обойти их все, нам жизни не хватит.

— И все равно интересно...— не сдавался Ява.— И похоже как ловить воров. Только тут наоборот... Наоборот, понимаешь... Воры ловят потерпевшего, чтобы отдать ему то, что украли. Кино! Скажи?

— Будет теперь нам кино, увидишь, что нам тетка скажет. Она, наверно, уж голову потеряла от волнения...

...Тетка нам ничего не сказала. Она лежала молча на тахте с компрессом на голове. Нам сказал дядя... Он сказал:

— Если бы вы, шалопуты, были мои сыновья, я бы сейчас вам по одному месту так надавал, что вы в штаны бы завтра не влезли. А поскольку я не имею права этого делать, то прямо скажу: еще хоть раз такое повторится, я немедленно покупаю вам билеты и в тот же день отправляю в Васюковку. Из-за вас вдовцом оставаться не хочу. Тетка чуть не умерла от волнения. Вон видите, лежит с головной болью...

Мы стояли опустив голову и что-то лепетали про то, как были в кино, а потом катались на «чертовом колесе», а потом... были в гостях у одной знакомой девочки (Валька Малиновская, честное слово, вот и адрес... можете проверить!) и как нас там хорошо принимали, и угощали, и усадили смотреть телевизор, и не хотели отпускать, и... мы больше не будем!

Потом мы выпили одного чаю («В гостях же во-о ка-ак наелись!») и голодные легли спать.

...Мы лежим и не можем заснуть.

На меня находит приступ запоздалого раскаяния. Совесть точит меня, как червь дерево.

— Ведь как все паршиво выходит!— с горечью шепчу я.— Хотим стать героями, а только и делаем, что врем да обманываем. И только за один день! Артиста обманули и, можно сказать, обокрали, милицию с ног сбили, трешку прокутили,

¹ Эти три копейки до сих пор лежат у меня дома,— все никак настоящего нищего не встречу... (Прим. автора.)

тете наврали, дяде наврали, даже... милостыню приняли. Неужели для того, чтобы стать героем, нужно так много врать и столько нечестных поступков совершить? Если так, то весь этот героизм ничего не стоит! Какой-то брехуновский героизм. А настоящие герои — это прежде всего честные люди. Кармелюк, Довбуш, граф Монте-Кристо, капитан Немо, Катигорошко, Покрышкин... Никогда они не врали. А мы брехуны и жулики...

Ява вздыхает в знак согласия.

— Конечно,— говорит он.— Что-то мы совсем заврались и... вообще... давай больше не будем.

— Конечно, давай,— говорю,— только нужно что-то придумать, что нас бы сдерживало. Давай дадим клятву (может, даже кровью), что больше не будем врать. И условимся: если не можешь или не хочешь сказать правду, молчи; как бы ни пытались, как бы ни домогались — молчи, и все.

— Хорошо,— кивает Ява.— Только кровью мы уже клялись — это не помогает. Давай так: если все-таки соврал, не удержался, тогда... тогда другой дает ему три щелчка в лоб. Причем немедленно и где бы ни случилось: на улице, в школе, на уроке или даже в президиуме собрания. И не имеешь права увертываться или отбиваться. Ни в коем случае. Святой закон! За первое вранье — три щелчка, за второе — шесть, за третье — двенадцать, и так далее. Сила! И волю будем закалять... А это для героизма знаешь как нужно!

Ява обязательно должен придумать что-нибудь интересное. И на этот раз я подозревал, что не так ему щелчками от вранья вылечиться захотелось, как чтобы интересно было. Но я не стал спорить — лишь бы результат был хороший.

На этом и порешили.

И, чувствуя себя уже почти на сто процентов честными мы спокойно заснули.

Глава V

ИЩЕМ ЦАРЯ-НЕЗНАКОМЦА ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ. ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ.

ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЯВЫ РЕНЯ

Утро началось с неожиданности. Когда я проснулся, Ява был уже одет. Одеваюсь и вижу — он мне подмаргивает и головой кивает: идем, мол, есть кой-какой секрет. Пошел я за ним в санузел.

Прищурился на меня Ява подозрительно и шепчет:

— Ты чего утаил, что твой дядя в контрразведке работает?— и уже палец для щелчка сгибает.

Я вытаращил на него глаза:

— В какой контрразведке?

— В той самой,— говорит,— которая шпионов ловит.

— Тю! Ты уже совсем свихнулся на этих шпионах.

— Ничего не свихнулся,— говорит.— Думаешь, я дурак? Оружие выдают только милиционерам (раз!), пограничникам (два!) и контрразведчикам (три!). Это я точно знаю. А раз твой дядя не милиционер и не пограничник, значит, контрразведчик.

— Какое оружие?— не понял я.

— Пистолет!— отчеканил Ява.

— Да где ты видел?

— В ящике письменного стола — вон выдвинут немного.

— Да? А ну идем!— И теперь уже я палец для щелчка сгибаю — смотри же, если соврал!

Вышли мы из санузла, прошлись (как будто просто так) по комнатам. А потом к письменному столу. И взглядом в выдвинутый ящик — раз! Эге! Не соврал Ява! Пистолет! Настоящий! Тускло поблескивает вороненая сталь.

Аж сердце зашло у меня в груди. Метнул я взгляд на дядю, который стоял на балконе — зарядку делал. И чуть погодя:

— Дядя Гриша! А что это у вас?

— Где?— Дядя шагнул в комнату и подошел ко мне.

— А вот в ящике.

— А-а... Пистолет.

— А зачем?

— Как — зачем? Стартовый пистолет. Спортивный. Не видел разве никогда?

Фу ты! Вот тебе и контрразведка! Дядя же мой, кроме того, что мастер на заводе «Большевик», еще и мастер спорта (легкой атлетикой когда-то увлекался, а теперь судья республиканской категории). И как я сразу не догадался, что это за пистолет! А в общем, честно говоря, я стартовых пистолетов близко никогда не видел и в руках не держал. И Ява, конечно, тоже. Вижу, краснеет Ява: стыдно ему, что он так сплюховал. И, чтобы скрыть смущение, спрашивает:

— А как же он стреляет?

— Очень просто.— Дядя вынул пистолет из ящика.— Дается команда... «На старт!» Потом... «Внимание!» А затем...— Дядя поднял пистолет над головой.

Ба-бах!.. Аж в ушах зазвенело! И в тот же миг:



«Ой!...» Трах-тарарах!..—что-то шлепнулось и загремело в кухне. Мы кинулись туда. Посреди кухни сидела на полу тетя, а возле нее валялась разбитая макитра, в которой она терла мак на пирог. Не ожидая выстрела, тетя с перепугу рухнула на пол.

Вид у нее был такой комичный, что мы рассмеялись.

— Гри-ша! — укоризненно склонив голову набок, жалобно сказала тетя.— Ну как ребенок! Разве так можно! Я чуть не умерла...

— Кто ж виноват, что ты так пуглива, как заяц под голым кустом,— смеясь, сказал дядя.

— А он все же бахает будь здоров, кто хочешь испугается,— сказал я. Жалко мне стало тетю.

— С ним и шпионов ловить можно,— сказал Ява.— Бьет, как боевой!..

— Дядя Гриша, а можно стрельнуть? — осмелился я.

— Ну что ж... только...— Дядя показал глазами на тетю, которая уже поднялась и собирала черепки.

— А мы в спальне!— рванулся Ява.

— Ну давайте...

Но даже в спальне, перед тем как выстрелить, я громко крикнул:

— Тетя, на старт! Внимание!

И только потом нажал пальцами обеих рук на спусковой крючок (одной рукой не справишься — такой тугой!). Ох и бабахнуло! По-моему, еще сильнее, чем у дяди.

По два раза стрельнули мы с Явой — больше дядя не решил («Еще соседи сбегутся!»).

Вся эта история с пистолетом немного меня развлекла. Но когда я вспомнил про часы, сердце мое опять защемило. Оно заскулило, как щенок в темной каморке. Как-то все будет? Найдем ли мы артиста? И что он нам скажет теперь?

За завтраком я сидел молчаливый и хмурый. Ява поглядывал на меня и все подмаргивал — пытался поддержать.

Вяло пережевывая яичницу с салом, я думал. Думал о том, что нужно как-то, никого не обманывая (ни в коем случае!), выскользнуть из дому, чтобы идти искать артиста.

А зачем врать? Поход в Театр юного зрителя у нас и так намечен. Только мы пойдем не через несколько дней, как собирались, а сегодня. И по дороге к Юному зрителю в другие театры заглянем и поищем нашего артиста. Спектакль начнется в двенадцать, а сейчас еще десяти нет, мы успеем.

Дядя не стал возражать, когда я сказал про театр, только о чем-то подумал и сказал:

— А может, и мне с вами? Как вы думаете?

Мы думали, что это совсем не нужно, что это испортит нам все дело. И я поспешил сказать:

— Да разве вам интересно? Там же все детское! Если бы я был взрослым...

Угадал дядя мои мысли или нет, я не знаю, но он почему-то улыбнулся:

— И то правда. Ступайте одни. Я пошутил. Но если снова где-нибудь потеряетесь, завтра же домой!

Дядя дал денег, мы надели новенькие, хрустящие рубашки, отглаженные штаны, блестящие, еще ни разу не надеванные ботинки и пошли.

Не знаю, как вы, но я, когда на мне все новое, чувствую себя, будто голый. Кажется, что все на тебя смотрят, и стыдно как-то, неловко, и хочется спрятаться от глаз людских. Кончается всегда тем, что я или потрусь рукавом о стенку, чтоб он не был таким новым, или пятно на штаны посажу, или ботинок носком в землю ткну, чтоб не так блестел. Тогда мне легче. Вот и сейчас, выйдя на лестницу, я сразу проехался локтем по перилам и сделал на рубашке грязную полосу. И только после этого мы вышли на улицу. Да все равно в новом было неудобно и неловко: ноги в ботинках, как в колодках, воротничок шею трет, что твой хомут,— что-

бы повернуть голову, нужно всем телом поворачиваться. И почему это в театр нельзя ходить в обычной одежде? Туда ведь идут пьесы смотреть, а не для того, чтоб на тебя смотрели! Если б я стал большим начальником, то издал бы даже постановление, чтобы в новом в театр не пускали. Но не волнуйтесь, я начальником никогда не буду. Я буду летчиком...

Мы сели в троллейбус и поехали в Театр музкомедии на Красноармейскую улицу. Начали мы с него, так как мне почему-то казалось, что этот симпатичный круглолицый артист должен работать как раз в комедии (где же еще ему царя играть?!)

Зашли мы в вестибюль. Пусто. Тихо. Справа касса. Прямо во всю стену огромные двери. Поднялись мы по лестнице к этим дверям. Толкнули — не заперты. Заглянули — и там никого.

— Может, — говорю, — еще рано, еще не пришли?

— Хорошенькое рано! Десять часов! — говорит Ява. — Артисты, как и все люди, должны с утра на работу приходить. А как же! Ведь это служба...

— А почему же никого нет?

— А ты что, хочешь, чтоб они тебе тут у дверей толкались? Нет — значит, на сцене. Репетируют. Пошли!

Но только мы повернулись от дверей, как тут же нам навстречу молодая женщина в синем, похожем на милицкий кителе.

— Вам что, ребята?

Стали мы, растерялись. Как же его спрашивать? А женщина снова:

— Что такое, ребята?

И тут Ява возьми да и ляпни:

— Нам царя нужно.

— Какого царя? — удивленно подняла брови женщина.

— Такого круглолицего, с лысиной. — Это уж я добавил.

Женщина засмеялась:

— Вы немного опоздали, хлопчики. Царей уж пятьдесят лет не существует. Надо было раньше.

Ява осмелел:

— Ну что вы, тетя! Разве нам настоящего? Нам настоящие цари ни к чему. Нам артиста нужно, который царя играет. Разве не ясно?

— Он в тринадцатой квартире живет! — выпалил я.

— Теперь понятно, — сказала женщина. — Только нет у нас такого, который бы царя играл. Ведь в нашем репертуаре про царей сейчас ни одного спектакля нет. А почему вы

именно у нас ищите этого артиста? Он сказал вам, что в нашем театре работает? Как его фамилия?

Мы с Явой переглянулись.

— Фамилию мы не знаем,— сказал я,— но знаем, что он играет царя.

— А где ж он этого царя играет? В каком театре?

— Не знаем...

— Вот тебе и раз! Приснился вам, что ли, этот артист? А откуда вы узнали, что он царя играет?

— Он сам сказал.

— Так вы с ним знакомы?

— Да немного...— неуверенно сказал я и взглянул на Яву: что ж это он молчит? То во всех разговорах всегда впереди, а тут замолк, как в рот воды набрал.

— Да как же это вы знакомы, что ни фамилии не знаете, ни в каком театре работает,— допытывалась женщина.

— Да вот так... не успели расспросить.

— А зачем вы его теперь ищите?

— Да нужно... Об одном деле поговорить...

— О творческом?— усмехнулась женщина.

— Угу...

И только я успел это сказать, как вдруг — бац! бац!.. Из глаз моих аж искры посыпались. Даже в затылке защемило. И будто не по голове, а по кавуну — такой звук гулкий.

Женщина от неожиданности так руками и всплеснула:

— Ты что его бьешь?! Это что за хулиганство! Ни с того ни с сего...

Что она еще там выкрикивала, я не слышал — мы были уже на улице. Голова моя гудела, на глазах закипали слезы.

Так вот почему Ява молчал — боялся соврать сам и ждал, пока я не совру. Но разве я всерьез врал? Я ведь только сказал «угу» на ее шутиливый вопрос. Это можно было понять тоже как шутку. Уж и пошутить нельзя! Если так придираешься, то до самой старости шишки на лбу носить будешь.

— Ты что, обиделся?— услышал я за собой голос Явы.— Ведь мы же договорились,— продолжал он невинным тоном.— Никто не виноват...

Я молчал.

— Ты не имеешь права обижаться. Это не честно. Зачем тогда было договариваться?

Он еще мне и выговаривал! Конечно, обижаться глупо, раз договорились, но когда вас при всем честном народе бьют по лбу, а вы не имеете права даже сдачи дать, то вряд ли вы будете хохотать после этого. Вряд ли запоете от удовольствия.

— Ну что ты...— не унимался Ява.— А если я совру, ты дашь мне в лоб, я и глазом не моргну, вот увидишь.

Все это было так, но до самого Оперного театра я молчал. И только на площади у театра, потирая лоб, сказал:

— Нужно как-то иначе узнавать. Похитрее. Сперва этот самый... репертуар смотреть. А то сразу — ляп!— дайте нам царя. А люди ничего такого не ставят.

— Конечно, конечно,— охотно согласился Ява, обрадованный, что я нарушил молчание. Договорились рассказывать все, как есть: что нам нужно возратить артисту одну вещь, которую он случайно, когда купался на Днепре, оставил нам (а какую, можно не говорить: мол, секрет; ведь про часы говорить страшно).

В опере с царями было намного лучше, чем в Музкомедии. И в «Борисе Годунове» царь, и в «Сказке о царе Салтане», и в «Декабристах», и в «Снегурочке». Я очень обрадовался, когда узнал об этом, и уж был уверен, что среди этих-то царей мы обязательно найдем своего круглолицего, с лысиной. Но как дошло до дела, то все цари оказались неподходящими. Не те цари! Ни одного с лысиной... Все с волосами и даже с кудрями. Все высокие, рослые. Это нам билетерша сказала. И даже показала их всех. Там в фойе висят их портреты. «Нашего» среди них не оказалось. Невеселыми вышли мы из Оперного.

— Ничего,— с напускной бодростью сказал Ява.— Я был уверен, что в Опере нет. Оперные артисты голос берегут, боятся застудить. Ни один певец не станет тебе купаться в реке.купаются только драматические артисты.

Мы спустились по улице Ленина к Театру русской драмы имени Леси Украинки. Но и там (а после этого и в Театре имени Франко) нас ожидало полное разочарование — ни одного спектакля про царя.

Оставался последний киевский театр, Театр юного зрителя.

Мы поднимались от Театра имени Франко по лестнице мимо необычного дома на улице Орджоникидзе. Он сплошь облеплен странными фигурами: тут и слоны, и змеи, и диковинные птицы, и какие-то совсем непонятные твари и чудища... В другой раз я бы разиня рот глазел на этот дом, ведь другого такого нет нигде в мире. А теперь я равнодушно проходил мимо и даже не смотрел! Ничего меня не радовало. И в душе моей было так мрачно и мерзко, что все эти страшилища, если бы вдруг ожили и заглянули туда, сами бы перепугались.

— Не горюй,— утешал меня Ява.— Ну конечно же, он

из Юного зрителя. Вот увидишь! Играет царя в какой-нибудь сказке для малышей. Он, наверно, комик. По-моему, мы его даже видели как-то по телевизору. Тот самый, помнишь, который споткнулся на пороге и — бряк! Гы-гы-ы...

Ява пытался развеселить меня. Всю дорогу до Театра юного зрителя он старался что-нибудь выдумать. Но я не поддавался.

Мы вошли в театр и будто в школу на большую перемену попали: шум, суета, беготня. И все почему-то малыши — даже без пионерских галстуков еще. Подошли мы к кассе. Оказывается, пойдет спектакль для младших школьников. Пьеса-сказка.

— Про царя?— тут же спросил я.

— Нет, про Красную Шапочку,— ответила кассирша.

Скривились мы, да что поделаешь, не идти же домой, тем более что нужно в фойе артистов посмотреть.

— Что ж, придется идти на «Красную Шапочку»,— сказал Ява.

Взяли мы билеты. Пошли. Расталкивая малышей, ходим по фойе, разглядываем портреты. И к каждому я подхожу с трепетом, со страхом. Последний ведь театр, последние надежды.

Пересмотрели мы все портреты, и упало, покатилося мое сердце... Нет нашего артиста. Нет, да и только. Что ж теперь делать? Где его искать? Значит, не артист он. Но ведь он же сам сказал, что артист. И про царя говорил... Как же так?!

— Погоди, не горюй,— подбадривает меня Ява.— Может, просто его портрет не поместили. Помнишь, как Гриша Гонобобель на школьную Доску почета не попал, потому что, когда фотографировали, его как раз пчела укусила, и мордыка была, как тыква. Может, и у этого что-нибудь такое...

— Ну да!— машу я рукой, а самому так хочется, чтоб это было правдой, так хочется...

— Ой, хлопцы, здравствуйте!— слышим вдруг. Оборачиваемся на голос и видим — в белом платице, с большим бантом-бабочкой стоит... Валька и держит за руку первоклассника в синей форме.

— Я вас сразу узнала! — радостно стрекочет Валька.— Вы давно в Киеве? С экскурсией или так? Со всем классом приехали или одни?

Я молчу... Это его знакомая, пусть он и говорит. Но Ява тоже молчит. Вы бы посмотрели на Яву! Он сперва побледнел, потом покраснел, потом опять побледнел, потом начал покрываться какими-то пятнами. Такого вида у него не было

даже тогда, когда в прошлом году он провалился в старый колодец.

А Валька не унималась:

— Вы надолго приехали? А браконьеров своих вы поймали тогда? Обещали ведь написать... Может, адрес потеряли? А? Да что ж вы молчите? Не хотите со мной разговаривать?

Наконец Ява овладел собой и открыл рот. И оттуда вылетели слова:

— А чего... Мы ничего... Мы наоборот...

Не скажу, чтоб это было очень красноречиво, но я не стал встревать в их беседу. Пускай балакают!

Да и поздно было встревать — уже прозвенел третий звонок, и все поспешили в зал. Представление началось. Мы сидели в седьмом ряду, а Валька в девятом. И Ява, вместо того чтоб на сцену смотреть, все время сиденье штанами полирует и голову назад поворачивает — на Вальку взгляды бросает.

— Голову свернешь, придется задом наперед ходить, — вежливо говорю ему.

А он даже и ухом не ведет.

А на сцене в это время коварный сухоребрый Волк с длинным носом пробивался в дверь к Бабусе, чтобы съесть ее. Шустрая Бабуся спасалась как могла — возводила баррикады из мебели, бегала по всей сцене, швыряла в Волка кувшинчики, кастрюли и другие предметы домашнего обихода.

К тыну возле избушки была привязана настоящая живая курица — единственная Бабусина худоба. И вот во время действия курица запуталась в веревке, которой была привязана, и начала биться. Увлеченные борьбой Волк и Бабуся ничего не замечали. А все зрители с волнением смотрели на бедную курицу, которая, обессилив, уже едва дышала. Но что поделаешь? Не кричать же, не срывать спектакль...

Вижу, Ява крутится, крутится на месте, будто ему горячих углей в штаны насыпали, потом вдруг поднялся и пошел. Прямо по проходу к сцене. Я затаил дыхание. И весь зал затаил дыхание, и все головы на Яву поворачиваются, как на параде на генерала, который обходит войска. А Ява идет себе... Идет, идет, поднимается на сцену, подходит к курице и начинает ее распутывать. А артисты себе играют, даже не замечают Яву, будто его и на сцене нет. Ява распутал курицу и спокойноенько пошел назад, на свое место. Только когда он сел, я услышал, как тяжело он дышит и как тукает у него в груди сердце. А через несколько минут Волк все-таки съел Бабусю, и первое действие кончилось. Занавес опустился.

ся, и в зале вспыхнул свет. Все захлопали в ладоши, причем большинство зрителей повернули голову в сторону Явы. И было непонятно, кому они аплодируют — артистам или Яве... К нам тут же подбежала Валька.

— Вот здорово! Ну и молодец! И как ты решился? Я бы ни за что не смогла. Ой, молодец! — Она говорила громко, даже, по-моему, слишком громко. Ей, видно, хотелось показать всем, что она знакома с Явой. Она гордилась этим. Со всех сторон на Яву были устремлены восторженные взгляды. И когда мы вышли в фойе, так все время то здесь, то там слышались приглушенные голоса: «Вон тот! Вон тот! В белой рубашке!»

По-моему, это было как раз то, о чем только и мог мечтать Ява. Он был счастлив. Сказать, что он сиял, — это, пожалуй, ничего не сказать. Он ходил по фойе, как на ходулях, как будто он выше всех на свете. Глаза его излучали что-то такое, что не способны излучать глаза обычных людей. И так он был далеко-далеко от меня, как никогда в жизни. Я и мои переживания из-за часов для него сейчас просто не существовали. Конечно, он стал героем, это ясно, но мне было неприятно смотреть на него.

— А это мой братишка Микола, — сказала Валька, так как Ява удивленно поглядывал на первоклассника в синей форме, который все время крутился возле нас.

И братишка Микола покраснел, как будто его знакомили не с курносым Явой, а с космонавтом Поповичем, киноартистом Рыбниковым или еще с какой-нибудь знаменитостью.

— Я вообще-то сюда из-за него пришла, мама одного еще не пускает, — будто оправдываясь, объясняла Валька.

Ява смерил братишку Миколу откровенно пренебрежительным взглядом. Тот еще больше покраснел.

— Так вы их поймали все-таки или нет? — спросила Валька.

— Конечно, — небрежно бросил Ява.

— И не написали?! Тоже мне! Или, может, адрес потеряли?

— Нет, не потеряли... Но... — Ява пожал плечами, и этот жест можно было понять: дескать, чего бы это я стал писать, очень нужно...

Валька вспыхнула. Преодолевая неловкость, она сказала:

— Ну, вы, конечно, не одни их ловили, вам взрослые помогали. Или, наоборот, вы — взрослым...

— Да чего там взрослые, — хмыкнул Ява. — Мы сами...

Он метнул на меня взгляд и... прикусил губу. Да было уже поздно.

Я вздохнул, поднял руку и вlepил ему в лоб три звонких щелчка — аж эхо раздалось. Валька вскрикнула. Братишка Микола захихикал. Кто-то еще засмеялся поблизости. Ходули сломались, и Ява очутился на земле — оторопелый, красный, как помидор, с вытаращенными глазами. Мне даже жалко его стало. Да разве я виноват? Не нужно было ставить таких условий...

Видя, что Ява не собирается давать сдачи, Валька (добрая душа) накинулась на меня:

— Ты что? Сдурел? Что за шутки?!

Вокруг нас начали собираться дети. Глаза у Явы забегали, как у загнанного зверя, и он выдавил из себя улыбку, жалкую деланную улыбку (так улыбаются, сидя на чужой груше, когда застанет хозяин). И сказал:

— Ничего... Все правильно... Теперь мы квиты...— И, обернувшись к толпе:— Чего смотрите? Кина не будет!

Дети, посмеиваясь, стали расходиться, тем более что прозвенел звонок, антракт окончился.

— Да что, что все-таки случилось? Вы что, поссорились?— не могла успокоиться Валька.

— И совсем не поссорились! Просто у нас уговор один есть.— Яве не хотелось объяснять. Мы уже вошли в зал и пробирались к своим местам.

— Да какой такой уговор?— не сдавалась Валька (вот уж это девчачье любопытство!).

— Да потом, после...

— Ну хорошо, только вы не убегайте.

— Ладно.

Глава VI

БУДКА. УХО ЗА УХО!

Представление окончилось, и мы вышли из театра. Ява уже совсем оправился от щелчков. По-петушину вытянув шею (вот-вот кукарекнет!), он заглядывал через головы детей. Это он высматривал Вальку.

— Может, пойдем? Зачем она нам сдалась? Только стрекочет, как сорока,— сказал я угрюмо.

Настроение у меня было... сами понимаете: часы на совесть, как на сердце камень. И казалось, не было никакой надежды, что они попадут к своему хозяину. Хоть выходи на улицу и кричи. Да разве докричишься, не зная ни фамилии, ни адреса в городе, где полтора миллиона жителей да еще полмиллиона приезжих! Безвыходное положение! Хоть плачь!

Но Ява совсем на другую волну настроен, совсем не о том думает.

— Как это пойдем? Ты что!— говорит он.— Мы же обещали подождать. Выходит, снова на брехню меня толкаешь? Смотри, так и щелчков заработать недолго!

«Мы обещали!» Как это у него здорово получается! Он один обещал, а говорит «мы». Тоже мне коллективист!

Но я не успел ничего сказать — из толпы выпорхнула Валька с братишкой Миколой и подбежала к нам.

— А я в фойе вас смотрела — думала, вы там ждете. Ну, идемте!

Мы шли по улице к парку Ватутина. Валька все время что-то говорила, но я не слушал. Мне было неинтересно. И вдруг я услышал свое имя:

— Что это Павлик кислый такой? И смотрит сердито... Он, случайно, не болен? Или, может, что-нибудь случилось?

«Сама ты больная»,— с досадой подумал я. Что ей от меня нужно? И не люблю, когда меня Павликом называют! Павлик-равлик!..¹

Ява пронзительно посмотрел на меня, и в глазах у него было: «Ну, друже, врать я не могу. Ты уж извини».

— Да так... случилось,— вздохнул он.— Неприятность одна...

И Ява начал рассказывать все, как было: и про часы, и про то, как мы сегодня ходили по театрам.

Сперва я хотел вмешаться и не дать ему говорить, но потом махнул рукой — пусть рассказывает, что это может уже изменить?

Слушая Явин рассказ, Валька все время ойкала и всплескивала руками. А когда Ява закончил, взволнованно сказала:

— Ну ты скажи!.. Вот это да!.. Подумайте, как вышло! Конечно, надо обязательно найти того артиста...— И вдруг глаза ее заблестели.— А знаете что? Кажется, один человек может вам помочь. Недалеко от нас живет старый артист, Максим Валерьянович. Он уже на пенсии, не выступает, но знает всех артистов. Он еще до революции играл на сцене. Вы ему опишите вашего «царя», и он наверняка узнает, кто это. Хотите, я вас познакомлю?

Мы переглянулись. Ява смотрел на меня победителем. Да еще неизвестно, сможет ли помочь этот Максим Валерьянович! Но почему не попробовать. Не в таком я положении, чтоб отказываться.

¹ Р а в л и к — по-украински улитка.

— А он дома сейчас?— спросил я, давая понять, что согласен.

— Да, скорей всего дома. Он часто хворает и вообще больше дома сидит. Идемте.

Уже знакомый нам двор на улице Январского восстания встретил нас веселой громкой музыкой — какие-то молодые люди на балконе второго этажа крутили магнитофон. Я подумал, что это хорошая примета — в кино, например, когда благополучно завершается какое-нибудь дело, всегда играет веселая музыка. Мы с Явой бодро зашагали под музыку к флигелю, уверенные, что Максим Валерьянович живет в одном с Валькой доме. Но Валька сказала: «Нет, не сюда», и свернула в темную подворотню. Мы с Явой покраснели — ведь Валька могла догадаться, что мы уже были тут. Хорошо, что в подворотне было темно, и она ничего не заметила. Из подворотни мы вышли на задний двор, к старым, скособоченным сараям. Сараев было много. Одни двухэтажные, с деревянными лестницами и узкими мостиками вдоль второго этажа — как на пароходе; другие — низкие, приземистые. Между сараями в темных проемах зеленым пламенем светились кошачьи глаза.

Мы прошли мимо сараев и начали спускаться по тропинке, что змеилась в зарослях дерезы. Слева начиналась Лавра — то выныривала, то снова пряталась в зелени деревьев. Кустов и разного бурьяна каменная крепостная стена с бойницами. Под стеной в чаще была таинственная темнота, от туда пахло сыростью, холодом, прелью...

— Вот где в казаки-разбойники играть!— с завистью шепнул мне Ява.

Да-а... в казаки-разбойники тут здорово!

Впереди ослепительно вспыхнул золотом купол какой-то колокольни. А справа от купола... Ха! Знакомая штука! Мачты высоковольтной линии. Эти гигантские железные аисты мимо нашего села тоже шагают через все поле, пока не скроются за горизонтом.

Мы спустились к колокольне. Массивные чугунные ворота были открыты, и сводчатый вход вел во внутренний двор Лавры.

Валька уже хотела пройти мимо этих ворот, как вдруг Ява сказал:

— Может, зайдем, хоть на минутку, взглянуть?

— Вот еще!— с досадой поморщился я. Мне не терпелось как-нибудь поскорее утрясти дело с часами.

Но глаза у Явы вспыхнули почти таким же зеленым огнем, как и у тех котов, что прятались между сараями. И я

понял: вот эта крепостная стена, эти бойницы — вся эта древняя Лавра уже населялась в его воображении таинственными незнакомцами, сыщиками и шпионами. И уже слышались Яве отзвуки выстрелов, и «Руки вверх!», и звуки погони, и... все, что случается в приключенческих фильмах.

Спорить с ним теперь пустое дело.

— Мы только посмотрим, и все, — умоляюще глянул он на меня.

— Ах, вы ведь тут, наверно, никогда не были... Так идемте, идемте! — затарахтела Валька.

Пришлось зайти.

— Тут Лавра кончается... — поясняла Валька. — Это — «Звонница над Дальними пещерами». А это — храм Рождества Богородицы.

Но она могла и не пояснять. Все это можно было прочесть на специальных досках. Что Ява и сделал по своей излюбленной привычке.

— «Храм Рождества Богородицы, сооружен в 1696 году в стиле барокко...» — громко прочитал он.

— Аварийное барокко, — сказал я. — Капремонта требует...

Действительно, рядом с подновленной златоглавой звонницей церковь Рождества Богородицы имела жалкий, заброшенный вид: купола облупились, почернели, стены потрескались, стекла в окнах выбиты. Около церкви стояли заржавленные, скособоченные леса из водопроводных труб. Казалось, что и леса эти такие же стародавние, как и сам храм. Вход в него был замурован кирпичами.

Небольшой дворик возле церкви был обнесен крепостной стеной, в которой были проделаны квадратные оконца и узкие бойницы. Тут в зеленом тихом уголке между деревьями были старые могилы — виднелись кресты, железные ограды, мраморные памятники.

Мы обошли церковь, и, когда уже уходили, Ява прочитал на одном из памятников:

ГЕРОЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.

АДЪЮТАНТУ КУТУЗОВА

ГЕНЕРАЛУ ОТ ИНФАНТЕРИИ

П. С. КАЙСАРОВУ

ОТ БЛАГОДАРНОГО ПОТОМСТВА

1951 г.

И на другом:

ГЕРОЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.
СПОДВИЖНИКУ М. И. КУТУЗОВА
ГЕНЕРАЛУ ОТ ИНФАНТЕРИИ
А. И. КРАСОВСКОМУ
ОТ БЛАГОДАРНОГО ПОТОМСТВА
1951 г.

— Вот видишь,— сказал Ява.— Такие исторические генералы похоронены, а ты не хотел идти.

— У нас тут много исторических,— сказала Валька.— В Лавре — Кочубей, Искра, в Выдубецком монастыре — Ушинский, а в церкви Спаса на Берестове — Юрий Долгорукий, который Москву основал.

Ява опять смерил меня гордым взглядом, как будто все это не Валька говорила, а он сам.

— Нужно будет посмотреть,— вздохнув, сказал я.— Но сейчас идемте к этому Валерьяновичу.

— Идемте, идемте,— подхватила Валька.

Мы вышли из ворот и вдоль крепостных стен спустились еще ниже.

Эх и местечко же выбрали монахи для своей Лавры! Среди буйной зелени, на высокой круче над Днепром, откуда трудно окинуть взглядом все, что открывается вокруг в синей безбрежной дали.

Извилистой тропкой спустились мы к асфальтовой дорожке, и эта дорожка вывела нас на узенькую кривую улочку, где в зелени палисадников стояло несколько старых, вросших в землю и покосившихся халуп-мазанок. И только по тому, что почти над каждой из них торчала телевизионная антенна, можно было определить, что это жилища наших дней, а не времен Шевченко.

Возле одной из хатенок, чуть ли не у самой ветхой, Валька остановилась. На маленьком, или, как теперь говорят, малогабаритном, дворике рылись, нервно дергая головами, белые грязные куры и важно, по-директорски прохаживался пестрый петух с залихватски сбитым набекрень гребешком. Ни грядок с овощами, ни ягодных кустов, как у других хозяев на этой улице, тут не было. Только цветы: розы, пионы, петушки, мальвы, флоксы.

И маленькая хатенка, как игрушечная, стояла в этом цветнике. Стены ее были по сельскому обычаю чистенько

выбелены, заваленка покрашена синькой, а на стене под крышей висели пучочки каких-то сушеных трав.

Мы вошли следом за Валькой во двор, ступили на скрипучее дощатое крылечко, которое было почти вровень с землей. Валька постучала. Никто не ответил. Валька пожалала плечами, потом подошла к окну и, приложив ладонь козырьком, припала к стеклу.

— Нет... Вы знаете,— преодолевая неловкость, сказала Валька,— должно быть, он поехал на Куреневку к племяннику. Он иногда в воскресенье туда ездит, когда хорошо себя чувствует. Но он скоро вернется, не волнуйтесь. Он всегда уходит с утра, а к обеду возвращается.

А вокруг все было таким привычным, близким, что я как-то сразу поверил — человек, который здесь живет, должен обязательно нам помочь. И я готов был ждать хоть до вечера.

Валька сказала:

— Идемте к нам. Я вам свои книжки покажу. И фотографии. У меня целых два альбома фотографий. Он скоро придет, не волнуйтесь.

Она говорила таким тоном, как будто была виновата, что Максим Валерьянович хорошо себя почувствовал и отправился к племяннику на Куреневку.

Мы шли назад.

Удивительное впечатление осталось от всего, что мы видели.

Только что была шумная городская улица с троллейбусами, потом сразу — церкви, тишина, кресты, старые могилы, «Генерал от инфантерии Красовский», потемневшая крепостная стена, потом — гоп! — воткнулись в небо мачты высоковольтной линии, потом неожиданно кривенькая сельская улица, халупка Максима Валерьяновича — куры квохчут, мальва под окном, подсолнухи. А внизу — набережная: трамваи, машины, автобусы, мотоциклы. Справа гигантский мост имени Патона. Слева другой красавец мост, по которому метро прямо из-под земли через Днепр пролегло.

И как все это, старое и новое, перемешалось — просто удивительно.

Мы дошли до сараев. На одном из этих двухэтажных «кораблей», на перилах мостика, что тянулся вдоль второго этажа, сидел головастый, широколицый хлопец в клетчатой рубашке и синих брезентовых штанах, которые сразу привлекли мое внимание. Я таких штанов еще не видел. На них было бесчисленное множество металлических заклепок. Как будто не из материн были эти штаны, а из железа, и не шиты, а клепаны.

Увидев этого хлопца в «железных» штанах, Валька закричала:

— Эй, Будка! Ты опять вчера звонил к нам? Если не перестанешь звонить, ох тебе за это и будет!

— Отвали,— сказал Будка и сплюнул сквозь зубы.

— Вот увидишь, увидишь!— не унималась Валька.

— Закрой свой гроб и не греми костями!— презрительно скривился Будка.

— В чем дело?— ледяным тоном спросил Ява.

Я увидел, как он побагровел. Нам все было ясно и без Валькиных объяснений, но мы все-таки подождали, пока она не сказала:

— Вот взял моду— звонит и убегает. Развлекается!

Ява кинул на меня взгляд-молнию, от которого стало жарко внутри:

— Павлуша, идем!

Мы бросились к деревянной лесенке, которая вела на второй этаж сарая.

— Да куда вы, хлопцы? Бросьте! Будете еще с хулиганом связываться!— закричала Валька (она думала, что нас влекут лишь благородство и рыцарские чувства).

Но мы, не слушая ее, торопливо взбирались по ступенькам, топая, как моряки во время аврала. Бежать Будке было некуда, да он и не собирался бежать. Он только слез с перил и стоял, прислонившись к ним спиной и сложив на груди руки. Он был приблизительно одного возраста с нами, но крепче и шире в плечах. Но мы у себя на выгоне привыкли и не к таким противникам.

— Звонишь, значит! Тикаешь, значит!— шипел Ява, подступая к Будке.

Будка даже позы не изменил, так и стоял со скрещенными на груди руками. Только процедил сквозь зубы:

— Не тяни шупальца, а то копыта протянешь! Я занимаюсь самбо и знаю такие приемчики, что вы у меня тут же послетаете вниз, как груши.

— П-посмотрим!— прошипел Ява и неожиданно схватил Будку за ухо, да не двумя пальцами, а всей пятерней.

Будка дернулся и хотел ударить Яву в живот. Но тот свободной рукой схватил его за руку, я— за вторую... И одновременно мы наступили ему на ноги: Ява— на левую, а я— на правую, чтоб не мог отбиваться ногами. Такое «самбо» мы знали с малолетства. Будка выкручивался, рвался, но мы зажали его, как в тисках. Ява мял ему ухо и приговаривал:

— Скажи спасибо, что мы тебя по пищалке не бьем. Мы



просто... передаем то, что тебе причитается. Нас один человек просил передать.

Сперва Будка все цедил сквозь зубы:

— Кончай! Кончай!

Потом вырывался молча и только сопел. Потом на глазах у него появились слезы, и он стал просить:

— Пустите! Ну! Пустите! Ну! Пус...

— А будешь еще звонить? Будешь?

— Н-не буду...— глотая слезы, проблеял Будка.

Мы подвели его к лесенке и пустили. Я не удержался и поддал ему коленом. И он загремел своими «клепаными» штанами до самого низа.

Вскочил, отбежал, обернулся и, размазывая по широкой мордашке слезы, прокричал:

— Ну погодите, погодите! Вы еще мне попадетесь!..

Погрозил кулаком и исчез.

Валька и братишка Микола встречали нас внизу, как героев-космонавтов. Словно мы не с сарая спускались, а сходили по трапу из самолета «ТУ-104» на Внуковском аэродроме. Не было только цветов и духового оркестра.

Братишка Микола так и прыгал от восторга:

— Вот здорово! Вот здорово! У нас Будку все ребята боятся, а вы... Вот здорово! Всем расскажу...

Мы сделали вид, что это для нас пустяк, ничего особенного.

— А почему его Будкой зовут? Разве имя такое?— спросил я.

— Да это его прозвали... Видели, какая у него морда? Настоящая будка. А так его Толиком звать. Противный он, вредный...— Микола сказал это с обидой: должно быть, ему частенько перепадало от Будки.

Вдруг Валька воскликнула:

— О, Максим Валерьянович!..

Из ворот, опираясь на палку, медленно шел высокий человек.

Глава VII

МАКСИМ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

Если бы не эта тяжелая поступь, пожалуй, трудно было бы сказать, старый он или молодой — такие веселые бесенята прыгали в его искрящихся, цвета чистой лазури глазах. На лысину и намека не было — пепельные от легкой седины волосы густым молодецким чубом закрывали лоб почти до половины. Лицо, как яблоко, румяно лоснилось.

Все это придавало ему какой-то «недедовский» вид.

И снова, как на пляже, я подумал: сколько же в Киеве таких вот молодцеватых дедов!

— Здравствуйте, Максим Валерьянович, а мы как раз к вам ходили!— кинулась ему навстречу Валька.

— Привет, привет! Что случилось?— белозубо, во все вставленные челюсти улыбнулся нам Максим Валерьянович.

— Ой, такое дело серьезное, такое дело...— затараторила Валька.— Вы нам должны помочь.

— Даже так? Ну что ж, я к вашим услугам, милые друзья! Все, что смогут сделать для вас мои семьдесят шесть лет, они сделают, будьте уверены,— сказал старый артист.

Валька уже раскрыла рот, чтоб рассказать, но, останавливая ее, Максим Валерьянович вдруг поднял руку:

— О нет, дочь моя! Умоляю! Сомкни уста свои! Ни слова! Раз дело серьезное, его нельзя решать вот так, на ходу... Идемте в мой чертог! И там найдем в беседе наслаждение.

Этот шутливо-возвышенный тон как-то сразу вызвал симпатию к старому артисту. Лица наши сами собой расплылись в веселых улыбках. И так стало легко и хорошо с ним, как будто мы давно-давно знакомы.

— Наверно, удивляетесь, что я живу в такой халупе?— усмехнулся он, когда мы подошли к его хате.— Меня уже столько раз пробовали переселять, да я все отбрыкиваюсь. Не могу я без этих цветов, без всего этого. Прошу!..

В хатке было две маленькие комнатухи и совсем маленькая кухня. Потолок низкий—хозяин мог легко достать его рукой. Из-за этого, а также из-за того, что окна закрывали со двора кусты и деревья, в доме, несмотря на солнечный день, были зеленые сумерки. Да и как-то трудно было представить эти маленькие комнаты светлыми и солнечными. Им больше шли как раз сумерки. Обе комнаты и кухня были заставлены цветочными горшками и горшочками. Горшки стояли на подоконниках, на табуретках, на специальных полках и прямо на полу. В горшках были всевозможные комнатные цветы: лилии, фикусы, примулы. Но больше всего кактусов. Я никогда раньше не думал, что бывает столько разных кактусов: и маленькие, круглые—будто зеленые ежики, и большие, разлапистые, похожие на каких-то доисторических ящеров, и покрытые густыми колючками, и почти совсем без колючек. Разнообразной формы и разных цветов. Тут были и взрослые, солидные кактусы, и совсем еще маленькие, пушистые кактусята. Прямо какое-то сказочное царство кактусов.

Кроме кактусов, в доме господствовали еще фотографии. Стены комнат были сплошь увешаны фотографиями в рамочках. И на большинстве фотографий сам Максим Валерьянович. Бесчисленное множество Максимов Валерьяновичей смотрело на нас отовсюду. И все разные.

Максим Валерьянович в цилиндре. Максим Валерьянович в смушковой шапке. Максим Валерьянович в тюбетейке. Максим Валерьянович с усами и без усов. Максим Валерьянович моряк. Максим Валерьянович казак. Максим Валерьянович босяк (в лохмотьях). Максим Валерьянович в шубе. Максим Валерьянович в халате. Максим Валерьянович... голый. Ну, правда, не совсем голый, а в набедренной повязке. Наверно, в роли какого-нибудь дикаря, потому что и кольцо в носу.

Аж голова кругом идет, если смотреть на всех Максимов Валерьяновичей!

А в углу, где у богомольных людей иконы, висит что-то. Сперва я так и думал, что икона: и рушники вышитые по бокам, и рама золотом поблескивает. Присмотрелся хорошенько, а там какой-то дяденька улыбающийся в пенсне и с папироской. Нет, не икона. Ведь господь бог, как бабушки сказывают, не курил и очков не носил. Да и не улыбался

никогда. Во всяком случае, не видел я ни одной иконы, где был бы нарисован бог с папироской, в очках или просто с улыбкой. Всегда серьезный и недовольный. И как в него только верят, в такого невеселого!

Так этот дяденька с папироской, как потом нам Валька сказала, был портрет знаменитого артиста Станиславского, который организовал в Москве театр МХАТ. А для актеров он был действительно настоящим богом — добрым, улыбающимся, радостным... Он создал очень хорошую систему. Что это за система, Валька, к сожалению, толком не могла объяснить, потому что сама не знала, но сказала, что системой Станиславского пользуются и сейчас во всем мире.

Но это было потом. А пока мы с Явой разглядывали, Валька очень толково и живо, как будто это с ней самой произошло, рассказывала про наши приключения и про историю с часами. Раз Максим Валерьянович был ее знакомый и она чувствовала себя с ним свободно, мы целиком доверили ей рассказывать и только иногда вставляли отдельные слова.

Максим Валерьянович слушал очень внимательно и серьезно.

А когда Валька кончила, заулыбался.

— Так-с, господа-товарищи, — весело сказал он. — Сюжет ясен. Без вины виноватые... Злодеи поневоле... Бывает, бывает. Но впадать в уныние не следует. Если он и вправду артист и если он в Киеве, мы его из-под земли откопаем, а найдем. То, что вы его по фотографиям в фойе не отыскиали, еще ничего не значит. Он может быть и приедем. У нас же сейчас на гастролях и Московский драматический имени Пушкина, и Львовский имени Заньковецкой, и Запорожский имени Щорса. Искать есть где. Но, друзья мои дорогие, придется отложить это до завтра... Вот эти две пани, — он показал на свои ноги, — очень у меня капризные. Отказываются много ходить, хоть ты их режь! Особенно вот эта — Лева Максимовна. С Правой Максимовной еще можно как-то договориться. А эта как упрется — с места ее не сдвинешь! Я уж им в подмогу третью даю, — он кивнул на толстую суковатую палку с вырезанной собачьей головой на набалдашнике, — все равно упрямятся. Раньше чем завтра с утра я их никак не уговорю двинуться в дорогу. Да и сегодня уж поздно — скоро начало вечерних спектаклей, а перед спектаклем для актера, кроме сцены, ничего не существует. Беспokoить его нельзя... Значит, план такой: завтра утром мы с вами идем на... киностудию. Именно на киностудию... У меня там небольшая съемка. Я только и могу теперь играть в не-

подвижных эпизодах в кино. Так вот на киностудии мы создаем штаб оперативной группы по розыску вашего «царя». И, с одной стороны используя молодые творческие силы (то есть быстроногих молодых актеров), а с другой чудо двадцатого века — телефон, мы разворачиваем боевые действия и... часы находят своего хозяина.

Он сказал это так просто и уверенно, что у меня в тот момент не оставалось никаких сомнений — все будет хорошо. И я невольно улыбнулся. И Ява улыбнулся. И улыбнулась Валька. И братишка Микола улыбнулся тоже.

И мне захотелось сказать Максиму Валерьяновичу что-то приятное, хорошее. Я посмотрел на фотографии и сказал:

— Это вы столько ролей сыграли?! Вот здорово!

Максим Валерьянович как-то лукаво улыбнулся, будто понял мое желание.

— Да, малость сыграл, господа хорошие... Что сыграл, то сыграл.— Он окинул взглядом стены, завешанные фотографиями, задержавшись на большой фотографии Киевского оперного театра.— А вот это, друзья, самое священное для меня место. Тут я впервые в жизни был в театре, впервые увидел сцену, актеров. Тут впервые передо мной поднялся театальный занавес.

Максим Валерьянович на миг задумался:

— Давно это было, да-авненько! И как это ни странно, но можете мне поверить: был я тогда совсем маленьким мальчиком, намного меньше вас. Мы только приехали тогда в Киев с Тернопольщины, и мать моя поступила уборщицей в этот театр. И вот однажды взяла она меня на представление. Давали тогда «Травиату», оперу Верди. Знаете?

— А как же. По радио слышали,— гордо сказал Ява и, чтоб не было сомнений, пропел петушиным голосом:—«По-окинем кра-а-й мы, где та-ак страдали...»

— Во, во,— улыбнулся Максим Валерьянович.— Она, «Травиата». Сидел я в осветительной ложе у самой сцены (мать упросила осветителя, чтоб он меня пустил туда). Видно было все и слышно чудесно. Я сидел и не верил, что это не сон, не сказка — все то, что я вижу собственными глазами. В последнем действии, когда Виолетта умирает, я настолько увлекся, так поверил, что она и вправду умирает, что вдруг возмущился недостойным, как мне казалось, поведением Альфреда и Жермона. Женщина, можно сказать, кончается, а они, мерзавцы, поют во весь голос. Не в силах сдержаться, я закричал: «Цыцте! Не пойте! Она ж умирает. Разве можно!» Осветитель, который сидел возле меня, даже со стула съехал от неожиданности. Хорошо, что оркестр в

это время звучал особенно мощно, а Жермон с Альфредом что есть силы тянули свои арии, и никто не услышал моего щенячьего визга. Обошлось только тем, что осветитель закатил мне хороший подзатыльник и выставил в коридор. Так я «Травиаты» до конца тогда и не увидел. Но заболел театром на всю жизнь.

И как ни билась потом мать, как ни старалась сделать из меня человека (а человек, по ее понятиям, это значит чиновник), ничего из этого не вышло. Не прослужив и двух лет, я оставил «присутственные места», забросил на самый высокий тополь Бибиковского бульвара свой чиновничий картуз с гербом и нанялся в труппу Кручинина статистом, то есть артистом, который играет без слов, в толпе, в мас-совках, и даже имени его в афишах не бывает... Было это в театре Бергонье на Фундуклеевской улице. Теперь это улица Ленина, а театр — имени Леси Украинки.

Максим Валерьянович разволновался, глаза его блес-тели, щеки горели маковым цветом. Я всегда люблю слушать воспоминания старых людей о прошедшем. И чем это объяснить, что рассказы даже про незначительные события вы-ходят у них интересно?.. Если бы это происходило сейчас, наверное, было бы совсем не интересно.

— Эх, публика моя дорогая, то было, как первая любовь, эти первые мои годы в театре. Может быть, никто так серьезно не относился к своей работе, как я. Никто так тща-тельно и столько времени не гримировался, как я. Никто так не волновался перед выходом на сцену, как я. Хотя выходил я с толпой всего на минуту, и ни одного слова не говорил, и зрители меня даже не замечали. Но мне казалось, что все смотрят на меня. Потом дали мне сыграть небольшую роль. Роль была малю-сенькая, с воробыный нос. Я выходил и отвечал: «Графиня нездорова и принять вас не может». По-ворачивался и уходил. И все. Но я был убежден, что в этих словах главная идея пьесы. И я произносил их таким тоном, как будто возвещал о конце света. Впервые весь зал смотрел на меня и слушал меня. Передать это чувство невозможно. Тем более, что моими словами заканчивалось первое дейст-вие. Занавес опускался, и в зале раздавались рукоплескания. Казалось, что аплодируют мне и только мне.

Долго еще рассказывал нам Максим Валерьянович о те-атре, о своей жизни...

Возвращаясь домой, мы с Явой всю дорогу молчали. Думали. Мы впервые познакомились с настоящим артистом. С артистом, который играл на сцене и снимался в кино.

Глава VIII

«ТОВАРИЩ ЦАРЬ, ВЫ АРЕСТОВАНЫ!»

«У-У, ПОРАЗНЕСУ!..»

Вечер. Мы лежим на тахте около открытого окна. Этот день принес нам столько впечатлений, что нужно быть дубовой чуркой, чтобы сразу заснуть.

Ява все время вертится, как будто его что-то кусает. Я хорошо знаю своего друга. Я знаю, что его кусает. Его мысль какая-то кусает, не дает покоя.

— Ну, что такое?— спрашиваю.

Ява вздыхает, но молчит.

— Ну скажи мне, что там такое?— повторяю я.

Ява еще раз вздыхает и говорит:

— Ты знаешь, Павлуша, я решил: когда вырасту, я, наверно, в артисты пойду.

— А кто ж милиционером будет? Кто будет преступников ловить?— усмехнулся я.— Ведь если все милиционеры в артисты пойдут... И Тарапунька, и ты... Разведется тогда всяких преступников, как муравьев, прохода от них не будет. Ты об этом подумал?

— Ничего,— серьезно говорит Ява,— и без меня найдет-ся, кому ловить.

— А ты вспомни, что вчера говорил! Даже не два дня тому назад, а вчера!

— Так то ведь было вчера, а это сегодня. Жизнь идет вперед.

— Между прочим,— говорю,— чтобы стать артистом, слышал я, нужно иметь для этого талант... Во!

— Ну про это ты и не говори! Что-что, а талант у нас с тобой как раз есть. Это точно. Думаешь, ты плохим бы артистом был? Еще бы каким!.. Все бы зрители плакали!

— Ну точно, плакали бы,— хихикнул я.— Денег за билеты жалко было бы...

— Дурной! Ты думаешь, нас даром в селе «артистами» называют? Дед Саливон все же время повторяет: «Вот артисты! Ну и артисты».

Когда вам в глаза говорят, что вы талант, и убеждают в этом, очень трудно спорить. Я пробормотал что-то невнятное и замолк.

Ява теперь говорил без помех:

— Артистам все-таки лучше всего... Самая лучшая жизнь у артистов. Музыка, песни, аплодисменты. Не жизнь, а Первомайский праздник! И слава! Какая у артистов слава!

Самых умных академиков так не знают, как артистов. Вот скажи, ты какого-нибудь академика знаешь в лицо?.. Вот видишь! А Кадочникова знаешь, Рыбникова знаешь, Баталова знаешь, Смоктуновского знаешь, Филиппова знаешь. Да что там говорить! Киноартиста, который на экране всего один раз только и мелькнул, знают все. Он идет по улице, и все пальцами на него — тыц! тыц! тыц! А ты говоришь...

Я вынужден был согласиться.

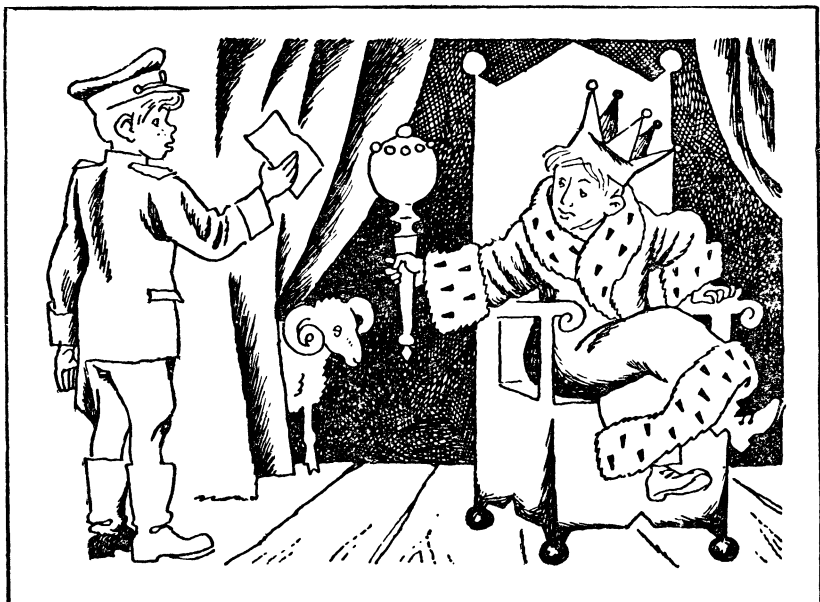
Поговорили мы еще немного о том, как хорошо быть знаменитым артистом, и заснули. И приснился мне сон...

Между прочим, сны мне почему-то часто снятся какие-то путаные, с приключениями и фантастикой. И я люблю их рассказывать. Ява всегда просит: «А расскажи-ка, что тебе снилось?» И я охотно рассказываю... Ява завидует моим снам и говорит, что я во сне живу интересней, чем наяву, и было б для меня, наверно, лучше, если бы я все время спал и не просыпался...

Так вот приснилось мне... Будто сижу я посреди сцены на царском троне в какой-то огромной царской шубе. И она почему-то воняет, как кобеняк деда Саливона. На голове у меня золотая корона, в руках увесистая дубинка с кругляшкой на конце — «скипетр» называется.

Из темного зала отовсюду (из партера и с ярусов) тарашат на меня коровы и бараньи морды. Тут и там, на местах зрителей, всюду сидят коровы, овцы, бараны и прочий рогатый скот. И меня это нисколько не удивляет. Как будто так и нужно. В первом ряду сидит наша однорогая корова Манька, Явина пятнистая Контрибуция, козел Жора и колхозный бык Петька. И я то и дело незаметно (чтоб не видно было другим зрителям) моргаю им, как подмаргивает артист своим родичам, которые пришли на спектакль.

А в основном я произношу какой-то длинный монолог — без слов, но очень умный и красивый... Наконец я кончил и склонил голову, ожидая аплодисментов. А в зале гнетущая тишина. И вдруг я спохватываюсь: какие тут могут быть аплодисменты, если у них, у моих зрителей, не руки, а копыта! А где вы слышали, чтобы кто-то аплодировал копытами? Чего я, дурной, волнуюсь? Мои же зрители просто не могут аплодировать. Они могут только мекать, бекать, мукать. Но из уважения ко мне они этого не делают. Они молчат, выражая тем самым восхищение моей игрой. Манька и Контрибуция растроганно вздыхают. Козел Жора вытирает кончиком бороды глаза. А колхозный бык Петька, известный хам и грубиян, плачет, как ребенок. Взволнованный, я встаю, но, вместо того чтобы раскланяться, вдруг хлопаю на весь зал



кнутом (у меня в руках уже не скипетр, а кнут!). И зрители мои с гвалтом срываются с мест. Миг — и в зале пусто. Нико-гошеньки. Одни стулья.

И тут вдруг из-за кулис на сцену выходит... Ява. В форме милиционера.

Грохоча сапогами, направляется ко мне и говорит:

«Чего нарушаешь? Не нарушать! А то сейчас заберу в отделение».

Я гневно смотрю на него:

«Кто дал тебе право так со мной разговаривать? Я — царь!»

«Какой же ты, к бесу, царь. Ты — вор! Ты украл часы у настоящего царя, и вот у меня ордер на твой арест. Товарищ царь, вы арестованы!» — И Ява показывает мне какую-то бумажку.

Меня охватывает страх.

«Ява, — говорю я, — ну зачем ты так... Ведь ты же знаешь, как все было. Это же случайно».

А он сердито:

«Кто дал тебе, вору, право называть меня, представителя власти, на «ты»? Опять нарушаешь?!»

«Извините, — прошу я, совсем сбитый с толку, — но я думал, что мы с вами друзья».

«Индюк думал»,— сурово говорит Ява и вдруг накидывает мне на голову какую-то дерюгу. И вот я связан, ничего не вижу, не могу шевельнуть ни рукой ни ногой. Какая-то ниточка от дерюги щекочет мне лицо, а я не могу ее отстранить. И это так нестерпимо, что хочется крикнуть, но крик застревает у меня в горле, и... я просыпаюсь.

Оказывается, по мне ползала муха. Когда я открыл глаза, она сидела на кончике моего носа и потирала от удовольствия передние лапки. Я сделал губами— пфуй!— муха слетела, прожужжала где-то под потолком и села мне на лоб... О сне нечего было и думать.

Я сел на тахте и глянул на «милиционера» Яву. Он мирно спал, подложив под щеку ладонь и причмокивая губами, как младенец.

— «Не нарушай»!.. У-у, змеюка! Предатель!— пробормотал я и пырнул его пальцем в бок.

Он сразу проснулся, вскочил и сел, хлопая заспанными глазами:

— Га? Что?!

— Вставай, а то я уже проснулся, и мне скучно,— спокойно сказал я.

— Тю!.. Дурной!— И он шлепнулся на подушку и закрыл глаза.

— Не нарушай!— милиционерским тоном сказал я.

— Отчепись, я спать хочу.

— А ну тебя, соня!— сказал я, соскочил с тахты и вышел на балкон подышать свежим утренним воздухом.

А утро какое! Лучистое, звонкое, ясное, как новая копейка. И веселое, голосистое, певучее... Ох, какое же певучее!..

«Аве-е, Мари-ия, а-аве, Ма-ария-а...» — печально выводит в растворенном окне высокий и чистый мальчишеский голос. И в ту же минуту:

«Джама-йя-а-ай-ка! Джамай-ка!..» — бодро и весело звенит все тот же голос уже из второго окна.

«Са-анта Лю-учи-ия! Санта Лючия!..» — волнами льется он из третьего. И одновременно из четвертого — его же задумчивое, грустное и совсем уж детское: «Мамма, Мамма...»

Аж мурашки по коже!

В то лето киевляне увлекались песнями итальянского мальчика Робертино Лоретти, и почти в каждой квартире были его пластинки. С раннего утра несло над городом пение голосистого Робертино.

«Вот бы нам с Явой такие соловьиные голоса,— подумал я.— Не ломали б мы голову, как прославиться. Стояли бы себе на сцене возле рояля, выпитив грудь, и только рот разева-

ли...» Ан дудки! Нашими голосами только «Пожар!» или «Караул!» кричать. А если уж в артисты, то только в драматические. Или в кино! Вот это да! Вот это мы можем! Кино!.. Радость щекочет мне живот. Мы же сегодня будем на киностудии! На настоящей киностудии, где снимают фильмы... И увидим известных киноактеров. И как фильмы снимают, посмотрим... И все такое интересное увидим!.. Эх! Даже не верится!..

Ява уже встал. Мы быстренько завтракаем — и айда!

...Как прекрасны люди утром! Будто росую умытые! Бодрые, свежие и как будто даже хрустящие, как молодые огурчики. А глаза у них какие! Чистые и ясные, как цветы, что только распустились.

Мы едем в автобусе, и я вокруг все рассматриваю. И такое у меня настроение расчудесное. И так я всех люблю! И так мне хорошо!

Бодрым шагом заходим мы во двор, где живет Валька. Нам нужно зайти сначала к ней, а потом уже к Максиму Валерьяновичу. Вдруг мы видим большую ватагу хлопцев (человек двадцать, не меньше) и среди них Будку. Они толкуются как раз у Валькиного подъезда, во что-то играют — не пройдешь никак. Мы в нерешительности остановились. И тут Будка заметил нас. Я увидел, как загорелись у него глаза. Он что-то сказал хлопцам, и те кинулись к нам. Момент — и мы окружены со всех сторон.

«Ну, пропали! Пропали ни за грош!» — мелькнуло в голове.

— Павлуша! За спину! — кричит Ява.

Я мигом подскакиваю к нему и прислоняюсь спиной к его спине. И так, занявши «круговую оборону», мы стоим, выставив вперед кулаки. А кольцо все сжимается и сжимается. И уже Будка, размахивая руками перед Явиным носом, орет:

— Поразнесу! У-у, поразнесу сейчас!

И я уже отталкиваю в грудь долговязого слюнявого детину, который лезет на меня. И вот кто-то больно двинул меня по ноге. Еще миг — и начнется драка. Да нет, какая там драка! Избиение, свалка, конец наш... Я уже, как говорится, кожей чувствую, как меня сейчас бить будут.

И тут вдруг Ява говорит звонким таким голосом, с насмешкой:

— Ого, как вас много! И все на двоих! Вот здорово!

«Что он говорит? Пришибут же на месте!» — с ужасом думаю я. А Будка со злобой цедит сквозь зубы:

— Ты, гад, поговори! Сейчас ка-ак врежу! — и уже замахивается.

И вдруг:

— Законно он говорит. Всем кодом — не дело! Ты, Будка, с кем-нибудь с одним из них стукнись. Вот это будет правильно. И честно, и поквитаться... А мы посудим. Чтоб всё по правилам было.

Это говорит вихрастый малый лет четырнадцати, который стоит где-то сзади, но голова его возвышается над головами передних. И Будка опускает руку. Видно, такое решение ему не нравится, но делать нечего... Он измеряет взглядом Яву, потом меня и недовольно бурчит:

— Ладно. Тогда я вот с этим стукнусь,— и тычет мне пальцем в плечо.— По-моему, этот крепче.

Он брешет: Ява на вид сильнее меня,— но никто не спорит.

— Идем к яру,— говорит вихрастый.

И все гурьбой, подталкивая нас, идут к яру. А у меня внутри с каждым шагом что-то с болью рвется и опускается все ниже и ниже.

«И почему же я?!» — пищит в моей душе тоненький овечий голосок. Но я молчу. Я должен молчать. Ведь я же мужчина!

Ява тоже молчит. Я знаю, что он сейчас чувствует. Он чувствует себя виноватым передо мной (ведь он-то как раз и намял Будке ухо, а я только держал). И Ява ужасно переживает, что вынужден драться я, а не он. Да разве он может теперь что-нибудь сделать? Разве он может просить, чтобы дрался он, а не я? Это же, значит, при всех признать меня слабым, это все равно, что плюнуть в лицо. Нет, он не может этого сделать! Я понимаю. И я умру, но не дам себя опозорить.

Мы спускаемся к яру, продираясь сквозь колючую, покрытую сизой пылью дерезу.

— Вот тут,— говорит вихрастый, и мы останавливаемся.

Небольшая поляна. С трех сторон дереза, с одного — крутой склон. Хлопцы расходятся, встают полукругом у кустов дерезы. И вот я лицом к лицу со своим противником. Несколько мгновений стоим, подавшись вперед и покачиваясь,— примеряемся.

Будка выше меня, шире и, конечно, плотней. Да разве я мог выбирать? Во всяком случае, лучше драться с одним, хоть и более сильным Будкой, чем с десятью.

Вы, наверное, сами знаете, что обычно боишься, пока не начнется драка. А потом уж страх проходит. Вместо него злость, боль и боевой азарт.

Будка размахнулся и, хотя я присел, он все же задел мне

по голове кулаком. И тут меня такая ярость взяла, что я вам передать не могу. Ах ты чертов Будка! Ах ты будка деревянная! Собрал целое кодро и храбрость свою показывает! А когда был один, сопли по щекам размазывал?! Ах ты клоп вонючий! И я, не помня себя от злости, ринулся в бой. Волчком вертелся я вокруг Будки, тыча кулаками и отскакивая. А он только беспорядочно махал своими «граблями» и топтался на месте.

Хлопцы загалдели:

— Да что ты, Будка?!

— Да бей же его!

— Под дых! Под дых!

— По сопатке!

Но Будка только сопел и размахивал руками, как мельница. Наконец он поймал меня за рубашку, обхватил, и мы покатались по земле.

— Навались на него! Дави! Дави! На лопатки!— подзадоривали Будку.

Но Будка был уже готов. И не он, а я положил его на лопатки, придавил к земле и крепко держал. Наши лица



почти касались, мы тяжело отдувались... И скоро побежденный Будка уже не трепыхался. Все! Моя взяла!

— Э, нет! Это не честно! Не по правилам! Недозволенный прием!— слышу я вдруг и чувствую, как меня за штаны сволакивают с Будки.

Поднимаю голову и вижу — тянет долговязый, которого я тогда толкал в грудь. Я хорошо знаю, что я дрался честно и никакого недозволенного приема не было, но я запыхался, и мне не хватает воздуха что-нибудь сказать. Я только с надеждой смотрю на вихрастого. Но он молчит, не вмешивается. И мне сразу становится ясно: положение мое безвыходное. Они — Будкины друзья и, конечно, хотят, чтобы победил Будка. Конечно. Иначе не стоило им затевать этот поединок. Иначе они могли бы просто отлупцевать нас. Моя победа — это позор для них для всех. И они этого не допустят. Хорошо драться можно только тогда, когда есть надежда на победу, а когда этой надежды нет... Я уже стянут, и воскресший Будка уже навалился на меня и со всей злостью за свое поражение тычет меня головой в землю. Что-то кричит, протестуя, Ява, да что он может!..

Бум, бум, бум! Как колокол звенит моя голова. И в глазах темнеет, и мысли путаются...

Как вдруг:

— Ах вы бессовестные! Ах вы бессовестные! Пустите сейчас же! Пустите! Пустите! Ну! Пустите! — пронзительный Валькин голос.

И звон в голове моей сразу прекращается. И Будка слезает с меня на землю. И я вижу над собой чистую голубизну неба, в котором летают белые голуби. И мне становится ясно, что откуда-то здесь взялась Валька, что она столкнула с меня Будку и стоит надо мной, воинственно размахивая руками, и кричит:

— Бессовестные! Бессовестные! Пионеры, называется! Школьники, называется! Бандиты! Вот я все расскажу! Все расскажу в школе! Вот увидите! И родителям вашим расскажу. И твоим, Алик, и твоим, Вовка, и твоим, Эдик. А на тебя, Будка, вообще в милицию заявлю. И тебя в колонию заберут. Вот увидишь! Хлопцы приехали из села в гости к нам в город, а вы их — бить! Да еще всем гуртом! Нечего сказать — гостеприимные хозяева! Бессовестные!..

Вот так крича, она помогла мне подняться и, взяв за руку, повела. А по пути и Яву прихватила. Наши враги расступились и пропустили нас. Никто даже не пытался нас задержать. Все молчали. И только когда мы прошли, кто-то пронзительно свистнул, и вся ватага, как горох из мешка,

сыпанула вниз, в яр. Может, они бы и по-другому поступили, да, наверно, все-таки решили, что Будка со мной вполне расквитался.

Я шел пошатываясь и рукавом вытирая пот со лба.

— Молодец, Павлуша! Ух ты ему дал! Ну и дал же!.. Он только дергался! — восторженно говорил Ява, обнимая меня за плечи. — Ты им всем показал, что такое васюковцы. Молодец!

Мне было приятно это слышать, но брала досада, что Валька этого не видела, что она застала меня уже битым и что она-то вроде бы и спасла меня... Я ей был, конечно, благодарен — кто знает, сколько бы еще этот Будка стучал об землю моей бедной головой? Но в то же время я чувствовал какую-то неловкость и стыд, что меня спасла девчонка. Такую неловкость, как будто она видела меня голого. И все-таки я был доволен. По-честному я все же победил Будку, здорового хлопца, который был крупнее меня. И который выбрал меня, считая, что я слабак.

На тропке нас ожидал братишка Микола. Оказалось, это он позвал Вальку. Видел, как нас повели к яру, смекнул, что наши дела дрянь, и побежал за Валькой.

— Ты тоже молодчина, Валька! — сказал Ява. — Одна и не побоялась! Они ж могли и тебя отлупить за компанию...

— Пусть бы только попробовали! Я бы им такого шуму наделала — весь город сбежался бы! И думаешь, я царапаться не умею? Пусть бы кто только тронул, его бы мать родная не узнала!

Ява поглядел на нее с восхищением и толкнул меня локтем в бок: смотри, мол, какая дивчина, вот это дивчина! Я кивнул в ответ: да, дескать, молодец дивчина, бог с ней...

Отряхнули меня Валька с Явой, почистили, как могли, но все равно вид у меня был, как будто корова жевала. А делать нечего, Максим Валерьянович давно уже ждет, нужно идти.

Максим Валерьянович шутиливо поздоровался с нами («Здравствуйте, милостивые государи!»), потом внимательно посмотрел на меня и неожиданно сделал предостерегающий жест рукой, хоть я и не собирался ничего говорить:

— Ни слова! Все понимаю. Была вооруженная стычка с противником. Пограничный инцидент. Причин не выясняя, но думаю, нечто чрезвычайное важно — дело чести... Требование сатисфакции. Дуэль. Несмотря на трудности, вы вышли победителем. Так?

Я улыбнулся и кивнул. Какой он все-таки! С ним как-то сразу становится легко.

Больше Максим Валерьянович ни о чем не стал расспрашивать. Он только сказал:

— Через десять минут должна быть машина. И мы поедем на студию. Вы как раз вовремя пришли.

Однако нам и десяти минут не пришлось ждать. Через каких-нибудь две-три минуты мы услышали, как возле хатки Максима Валерьяновича остановилась машина, хлопнула дверца, и тут же чей-то молодой голос раздался во дворе:

— Максим Валерьянович, я уже тут! Я за вами...

Глава IX

НА СТУДИИ. НЕОЖИДАННОСТЬ ПЕРВАЯ.

НЕОЖИДАННОСТЬ ВТОРАЯ

И вот — ворота. Ворота, что отделяют обычный буднич- ный мир от сказочного, волшебного, фантастического мира кино. И как-то обидно, что они на вид такие простенькие и неказистые. И такие низенькие — не то что перелезть, пере- прыгнуть можно. Я разве такие бы сделал для киностудии! Ну хотя бы как те... перед Зимним дворцом, через которые в фильме «Ленин в Октябре» матросы перелезают. А то бы и еще выше. Киностудия ведь, а не что-нибудь!

Ну, а пока что отворяются вот эти низенькие воротца, и мы въезжаем на территорию студии.

Смотрю влево — ух ты, фруктовый сад, да не какой-ни- будь маленький, а такой, что конца не видно! Будто мы и не на студию попали, а в совхоз...

— Может, это для артистов... политехнизация... После съемок работают... — шепчет Ява.

— Наверно, — соглашаюсь я.

Посмотрели мы вправо — стоят друг за другом красочные щиты (вроде тех, какие бывают на шоссе). На одном из щитов Ява прочел: «Искусство принадлежит народу». «...Из всех искусств для нас важнейшее — кино (В. И. Ленин)».

А на другом щите были такие слова:

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и оде- жда, и душа, и мысли (А. П. Чехов)».

Я вздохнул: лицо у меня — как будто на нем гвозди за- бивали; одежда вся измятая, грязная; на душе кошки скре- бут, как про часы вспомнишь... Лишь в мыслях своих я был великолепен и совершал поступки прекрасные и благородные. Да ведь мысли-то никому не видны...

Мы вышли из машины и следом за Максимом Валерьяно-

вичем направились к дверям киностудии. Вот это двери! До чего же интересные! Крутятся! Как винт парохода или колесо водяной мельницы (только на попа поставленные). Толкнешь одну дверь, а другая уж тебя догоняет и по спине лупит. Ну и двери!

Протолкнули нас двери внутрь. Ява только потянул носом воздух и тут же сморщился. И я тоже. Больницей пахло. Там, слева, было что-то вроде амбулатории. Да, подумал я, видно, не такое уж это безопасное дело — кино создавать, раз медицина наготове.

Мы поднялись по ступенькам чуть вверх и пошли длинным-предлинным коридором. Мы с Явой не раз читали про киностудию в книжках (и у Кассия, и у других), что когда попадаешь туда, то чудеса начинаются сразу же в коридоре: Петр I ходит там, обнявшись с Чапаевым, какой-нибудь римский гладиатор прикуривает у Героя Советского Союза, а гордая морская царица рассказывает простой колхознице о том, какую чудесную кофточку купила она вчера в универмаге.

И нам не терпелось увидеть все это. Мы то и дело озирались по сторонам. А по коридору почему-то ходили самые обыкновенные люди в самых обыкновенных костюмах (некоторые в спецовках, как на фабрике!), и никаких тебе гладиаторов, и никаких царей... Наверно, мы попали в такой день, когда интересных съемок на студии не было. Не повезло нам!

И вдруг...

— Во! Во! — толкнул меня в бок Ява. По коридору навстречу нам шел человек в зеленой военной фуражке, в гимнастерке с портупеей. Высокий, стройный, с суровым лицом...

— По-моему, Кадочников... В роли партизана... — шепнул Ява.

Увидев Максима Валерьяновича, военный приветливо улыбнулся и козырнул. Максим Валерьянович тоже улыбнулся и поздоровался с ним. Когда мы разминулись, я набрался смелости и спросил Максима Валерьяновича:

— А... кто это? Как его фамилия?

— Петренко, — немного удивленно взглянул на меня Максим Валерьянович. — Прекрасный человек... Пожарник... Отвечает на студии за пожарную охрану.

Тю!..

— Какие-то пожарники пошли... неинтересные, даже касок не носят, — отводя глаза, буркнул Ява.

Долго мы шли узким, полутемным коридором. И почти

все, кто нам встречался (а люди в коридоре толпились, как на Крещатике), здоровались с Максимом Валерьяновичем. Ну просто, как в селе — «здрасьте» на каждом шагу.

Наконец Максим Валерьянович остановился у двери, на которой висела табличка: «Съемочная группа «Поцелуйте меня, друзья!» За дверью стоял страшный гвалт. Казалось, что там полно людей, которые кричат и ссорятся между собой. Но когда Максим Валерьянович отворил дверь и мы вошли, оказалось, что в комнате всего один человек. Он был уже немолодой (лет за пятьдесят), но еще бодр и крепок, с огромной копной черных волос на голове... Сидя на столе, он ругался по телефону, не смолкая ни на миг и перебивая сам себя:

— Вы, понимаете, съемку срываете... Что вы мне вчера обещали? Вы обещали солнечную погоду, понимаете... Без осадков! А дали что? Что вы мне дали, понимаете... Поглядите в окно!— Он ткнул рукой в сторону окна.— У вас есть окно? Полюбуйтесь, понимаете! Осадки, чтоб им пусто было! Полное небо осадков! Осадки, и никакого, понимаете, просвета...

На самом деле, небо затянуло тучами, и стал накрапывать дождь.

— Безобразие, понимаете...— ругнулся он в последний раз, соскочил со стола и порывисто обнял и поцеловал Максима Валерьяновича:— Здрасьте, дорогой! Вот ругался с этими... как их... с вещунами погоды...

— Синоптики?— усмехнулся Максим Валерьянович.

— Во-во!.. Синоптиками... Оракулы чертовы, понимаете...— Он погрозил пальцем телефону.— Не можете, так хоть голову не морочьте! У меня, понимаете, Юлю послезавтра «Ленфильм» забирает. Уж билет на самолет есть, а я еще натуру не снял из-за них... из-за этих вот, понимаете, осадков... Придется сегодня снова снимать в павильоне... Все уже там... Бежим... Быстренько...

— Да вот тут у хлопцев одно дело...— начал было Максим Валерьянович, но «Поцелуйте меня, друзья!» очень вежливо перебил его:

— Простите, дорогой... потом... потом!— Он умоляюще приложил руку к груди и склонил голову.— После съемки... Все дела после съемки... Самое неотложное дело сейчас— съемка... Быстренько на площадку... На площадку! И вы тоже... Я вас приглашаю, дорогие мои,— повернулся он к нам.— Только, конечно, чтоб тихо, понимаете, чтоб... не то, понимаете...

Максим Валерьянович весело глянул на нас:

— А что? Идемте... Вы же на съемках, наверно, еще не бывали? Так вам будет интересно... Хотите?

Конечно, мы сразу согласились. А Валька не сдержалась и даже подскочила, хлопнув в ладоши: «Ой, как здорово!» Ява гордо посмотрел на нее: как-никак, а это благодаря нам она попала на киностудию, да еще и на съемки, а то, хоть и живет в Киеве, съемок сроду не видала.

И снова пошли мы длинным коридором.

Я шел и думал: «И что это за синоптики, которые не могут самый обычный дождь угадать! У нас на селе каждая бабуля за три дня вперед вам дождь предскажет. Примет же верных сколько хочешь. И по тому, как ветер крутит — на порог или с порога. И как куры себя ведут. И как солнце садится... А иногда деревья подсказывают... Завели бы себе на метеостанции кур — и хлопот бы не знали! Не срывали бы тогда киносъемок!»

Тут мы спустились вниз и очутились будто в гигантском цехе какого-то завода. Потолок вверху почти не видно... И мы все сразу какие-то маленькие-маленькие стали... Идем, идем — и конца нет.

Навстречу нам семенил, цокая по цементному полу, какой-то худенький лысый человечек. Еще издали он замахал руками и закричал:

— Привет, Витя!

— Здравствуй, Женья! — воскликнул «Поцелуйте меня, друзья!».

А когда мы приблизились, престарелый Витя обнял престарелого Женю, и они расцеловались. Потом он поцеловал Максима Валерьяновича. Я уже боялся, что он и нас начнет целовать, но тот лишь помахал нам рукой и сказал:

— Привет, старики!

Мы невольно усмехнулись: пожилой человек, который уже наверняка имеет внуков, у него — Витя, а мы — старики... Все наоборот!

Сам Женья был, должно быть, еще старше Вити, и не только потому, что вокруг его лысины, как камыш вокруг озера, торчали вихры седых волос (у Вити ни одной седой волосинки!). Все лицо Жени было в больших морщинах — как печеное яблоко. Но это были какие-то очень интересные морщины. Они все будто лучились от глаз. И потому лицо его все время сияло и смеялось. А черные с искоркой глаза бегали, как мышата.

Короче говоря, он был очень симпатичным.

Я заметил, что он, когда еще бежал нам навстречу, взглядом нацелился почему-то на нас с Явой, И когда целовался

с Витей и Максимом Валерьяновичем, тоже не сводил взгляда с нас. А как только поздоровался, сразу же накинулся на Витю, кивая в нашу сторону:

— Кто это? Чьи они?

Витя пожал плечами и посмотрел на Максима Валерьяновича.

— Мои,— заулыбался Максим Валерьянович.

— Они у тебя снимаются?— снова накинулся Женя на Витю.

Тот отрицательно покачал головой.

— Так чего же ты молчишь!— выпалил Женя.— Они же мне вот так,— он провел себе ладонью по шее,— нужны! Это ж такой типаж! У меня же завтра массовка. Я мечтал о таких хлопцах! Старики, я вас очень прошу!— Он приложил руку к груди.— Я вас просто умоляю! Я пришлю за вами машину! Завтра... в двенадцать часов... на съемку... сюда в студию... Я договарюсь с вашими отцами... Всего на один день... Где вы живете?— Он уже вынул из кармана блокнот.— Если сможете, приводите еще одного-двух мальчиков...— говорил он, записывая адрес.— В половине двенадцатого за вами приедет мой ассистент... Договорились... Прекрасно, прекрасно... Привет! До завтра.

И только когда он отбежал, я наконец взял в толк, что нас — меня и Яву — пригласили сниматься в фильме, что завтра, буквально завтра, мы станем киноартистами и наши мордахи увидит весь Советский Союз, а может, даже и весь мир, что, короче говоря, как в сказке сбывается то, о чем мы могли только мечтать... Ой! Бугуль-буль-буль! Что-то радостно забулькало, загудело и засвистело у меня внутри — так гудит и свистит самовар, закипая... Еще немного — и у меня из носа пойдет пар от бурлящей радости... Я глядел на Яву — такого радостно-глуповатого лица я еще не видел ни разу...

— Ну вот! Я вас поздравляю!— весело сказал Максим Валерьянович.— Оказывается, режиссеру Евгению Михайловичу вы были до зарезу нужны. И завтра уже будете сниматься... Кино, братцы, великая вещь!

— Важнейшее из искусств!— с гордостью сказал Ява.

— Я так рада за вас!..— тонким, дрожащим голосом сказала Валька. Она завидовала, она безумно завидовала нам. Никогда, должно быть, она не жалела так, как сегодня, что она — не мальчишка.

— Ничего, в другой раз будут нужны девчата... Вот увидишь!— сказал я тоном, каким говорят с маленькими детьми

или с большими. Я был великодушный. В душе моей порхали бабочки...

Мы свернули влево в маленькую дверь и очутились в огромном темном зале. Мы долго петляли почти наугад среди каких-то перегородок и сооружений, спотыкаясь о толстые резиновые кабели. Наконец вышли на ярко освещенную площадку... Ух ты! На площадке стоял самолет!.. То есть не весь самолет, а часть самолета. Передний салон разрезанного вдоль «ТУ-104»... Но все, как в настоящем самолете: и кресла, и иллюминаторы, и все-все (я ведь летал, знаю). Съемка еще не началась, и пассажиры, и стюардесса, и пилоты спокойно прохаживались вдоль площадки. Возле огромных прожекторов на подставках сутились люди в спецовках. А по рельсам, что тянулись вдоль самолета, парень в клетчатой рубашке медленно двигал тележку, на которой стоял киноаппарат. К аппарату припал мужчина в черном халате.

— Выключить четвертый!— крикнул он, как раз когда мы подходили.

Что-то щелкнуло, и один из прожекторов, что стоял наверху на каком-то мостике, погас...

Ох как тут интересно! Да еще и самолет! (Как будто на студии знали, что я будущий летчик.) И меня охватила волна бурной радости... Все здесь было таким необычным и праздничным, что чувствовали мы себя прямо как на собственных именинах, когда гости уже собрались и садятся за стол. Я не мог устоять на месте от мысли, что сейчас начнется самое интересное — киносъемка.

— Где Вася?— сквозь зубы процедил «Поцелуйте меня, друзья!».— Снова опаздывает?.. Ну что ж, сядем и будем его дожидаться.— Он резко опустился на стул, уперся руками в колени и замер с каменным лицом.

Но не прошло и минуты, как на площадку выбежал из темноты запыхавшийся молодой человек в форме летчика:

— Виктор Васильевич, извините! Извините! Часы... стали... Я не виноват... Забыл завести...

«А мой?— вдруг подумал я.— Я ведь тоже не заводил. А надо регулярно заводить... Отец вон каждый день заводит. А то еще сломаются... Нужно завести...»

Я сунул руку в карман...

Мне показалось, что огромный прожектор падает на меня... Я пошатнулся...

Часов в кармане не было!..

Глава X

ГДЕ ЧАСЫ? МЫ ИДЕМ В ЛОГОВО ВРАГА

— Сейчас начнется! Сейчас начнется!— взволнованно говорит Ява.— А тот длинный, в фуражке,— вылитый Филиппов... Скажи!

— Ява...— говорю я мертвым и каким-то далеким-далеким, будто с другой планеты, голосом.

— А может, это настоящий Филиппов... Вот было бы здорово познакомиться!.. Подойти и сказать: «Здрасте, а мы завтра тоже снимаемся... хотим посоветоваться».

— Ява!

— Хлопцы от зависти так и лопнут!— захлебывается Ява.— Вот выпало счастье-то! Вот выпало...

— Ява...

— Я ж тебе говорил, что мы будем артистами... А ты — «летчиком, летчиком»... Как попугай...

Я хватаю его за руку и силой тащу в темноту за перегородку.

— Что такое?— пытается вырваться он.

— Часы...

— А?

— Нету...

— Что?

— Часов нету...

— А где?

— Да были в... кармане. И... и... нету.— Я вывернул карман, хотя в темноте он все равно бы ничего не увидел.

Ява молчит, пораженный.

— А сейчас после съемок найдут хозяина и...— в отчаянии говорю я.

— Это во время драки! Точно! Когда вы по земле катались, они и выпали!.. Идем! Мы еще успеем, пока съемки будут...

Я крикнул Вальку.

Он проскользнул между людьми к Вальке, зашептал ей на ухо. Она рот бубликом: «Ох!»— и вмиг они оба уже были возле меня. Мы начали осторожно, чтоб не привлекать внимания, пробираться к выходу. На съемочной площадке царила такая суматоха, что было не до нас. Только какая-то дородная женщина в белом халате заметила наши маневры. Но она поняла их по-своему. Наклонившись к нам, она тихо сказала:

— Вторая дверь налево — женская... Третья — мужская.

Мы смутились, но объяснять ничего не стали.

...Никогда в жизни я так не спешил. Казалось, что я раздвоился: первое «Я» рвалось вперед, а второе «Я» никак не могло угнаться за первым.

В метро по эскалатору вниз мы катились горохом, не смотря на громкое предостережение радиотети: «Бежать по эскалатору запрещается!» А потом на «Арсенальной» — вверх, аж сердце из груди выскакивало.

И на двадцатом троллейбусе хотелось выпрыгнуть и опередить его: так он, казалось, медленно идет...

А по горе мимо церкви Рождества Богородицы бежали так, что пятки касались затылка.

Наконец... Вот оно... Вот это проклятое место!.. Все трое мы кинулись на колени и начали ползать на четвереньках. Колючая дереза царапала щеки, лезла в глаза, запутывалась в волосах... Часов не было... Вы можете смеяться, но я даже водил над землей ухом, надеясь услышать тиканье (так саперы водят миноискателем). Тиканья не было. Мне только показалось, что я слышу, как тяжело бьется подо мной гигантское сердце земли. Это глухо билось у меня в груди мое собственное сердце.

— Вот тут ты ему дал подножку...— бормотал, ползая, Ява.— Вот тут вы катились... Здесь ты сидел на нем... Вот тут тебя с него стащили...

Я вдруг сел на землю, почувствовав, как все тело мое стало бессильным и вялым.

— Ява,— тихо сказал я,— они вытащили их из кармана. Когда стаскивали меня за штаны... Точно... Я даже почувствовал тогда чью-то руку в кармане. Но я ничего такого тогда не подумал...

Ява и Валька тоже сели на землю. Мы сидели и молча переглядывались... Час от часу не легче! Если до сегодняшнего дня я был, как говорится, условным вором (так как часов все-таки не крал, хотел вернуть и, главное, мог вернуть), то теперь все было намного сложнее—я не мог вернуть часы. Вот ведь: крал не крал, а из-за меня часов не стало, и по всем законам я за них отвечаю! По всем законам я — вор!

— Идем к Будке! — вскочила с земли Валька.

Я безнадежно вздохнул и с горьким сожалением посмотрел на нее: и что она говорит? Ну мы пойдем, ну мы скажем: «Отдай!», а он только хмыкнет насмешливо: «Знать ничего не знаю!» Поди докажи, что они взяли! Она хочет, чтобы мой заклятый враг, с которым я сегодня так дрался и которого я, по совести сказать, победил, был ко мне добрым и отзывчивым. Вот чудная!

— Идем к Будке! — твердо повторила Валька. — Если не хотите, я одна пойду!

— Да что там одна... — буркнул Ява, поднимаясь и бросая взгляд в мою сторону: — Идем...

— А-а... — безнадежно махнул я рукой, но тоже поднялся (еще, чего доброго, подумают, что я боюсь!).

Мы шли по тропке гуськом: впереди Валька (она больше всех верила в успех дела), потом Ява (он старался верить — ради Вальки), а за ним уже я (который совсем не верил).

Мы шли в логово врага... Я чувствовал себя разведчиком, которого забрасывают в немецко-фашистский тыл. Я не боялся, нет, просто не очень хотелось зря получать оплеухи.

— А где он сейчас? Ты знаешь? — спросил Ява у Вальки.

— Наверно, за сараями — там у них штаб... Или на площадке — в футбол играют... Или дома. Я знаю, где он живет, — уверенно сказала Валька.

В «штабе» за сараями ни одного «воина» не было... На площадке тоже.

— Пошли домой к нему! Скажем матери, что мы в милицию заявим, и вообще... За это и в колонию отправить могут! — с жаром сказала Валька.

— Вон он! — воскликнул вдруг Ява.

Из парадного, где жила Валька, вышел Будка. Мы кинулись к нему. А тот и не думал бежать. Мне даже показалось, что, когда он нас увидел, глаза его радостно вспыхнули.

— Где часы? — подскочила к нему Валька.

— Во-первых, где ваше «здрассте»? — с ехидной усмешечкой сказал Будка. — Какие вы невежливые, невоспитанные... Неужели вас мама не учила, как нужно себя вести?

— Ты нам зубы не заговаривай! Где часы? — выставив нижнюю челюсть, грозно сказал Ява.

— Ой, как страшно! Я начну заикаться! Не нужно меня пугать! — издевался Будка.

— Где часы?! — зло повторил Ява.

— Да о каких часах, простите, идет речь? — невинно захлопал глазами Будка.

— О тех самых, которые вы вытащили у него из кармана! — крикнула Валька, ткнув пальцем в мою сторону.

— Позолоченные? С черным циферблатом? Марки «Салют»?

— Так! Так! Так! — воскликнул я радостно.

— Не видал, — вздохнул Будка и сокрушенно покачал головой.

— Ах ты... гад! — крикнула Валька.

— Не кричите на меня... я нервный. На меня даже мама в детстве не кричала.

«Так я и знал! Ну что с него возьмешь?»

— Отдай часы, а то...— Я запнулся, так как сам не знал, что же теперь делать.

— Ах, вы хотите, чтобы вам их принесли на блюдечке с голубой каемкой? А ключ от квартиры вам не нужен? Где деньги лежат...

Он, должно быть, начитался «Золотого тельца» Ильфа и Петрова и корчил из себя Остапа Бендера.

— Ну ничего!— прошипела Валька.— Не хочешь по-хорошему, мы пойдем к твоей матери... В милицию пойдем... Всюду!.. Раз ты вор... крадешь... пусть тебя в колонию возьмут! Идем!— кивнула она нам.

— Ах какая ты быстрая! Вор... милиция... колония... Ха! Докажи, что мы у вас что-то брали! Докажи!

— Докажу!

— Ничего ты не докажешь... А вот если б вы не были такими дошлыми, я, может, вам и помог бы... Ведь может оказаться, что я кое-что знаю...

— Что? Что? Что ты знаешь?— спросили мы, запинаясь.

— Во-первых, я точно знаю, что взял не я. Потому что у меня руки... хе-хе-хе... были заняты... Скажешь, нет?— усмехнулся он, глядя на меня.

— Ну?— сказал я, краснея (я вспомнил, как он тюкал меня головой об землю,— руки, вишь, у него были заняты!).

— Но я знаю, кто взял. Один малый... Он не из наших. Случайно тогда был. Это, знаете, чувак правильный... срок уже имел... в тюрьме сидел... Так что...

Я не знал, что такое «чувак» и что такое «срок», но я понял: дела плохи; если Будка не брешет, часы попали в руки настоящего вора.

— Ну?— с нетерпением спросил я, ощущая в груди противный холодок.

— Что ты нукаешь? Это такой чувак, что твои часики передавали тебе привет! Но наши хлопцы уважают уголовный кодекс... Кусошников мы сами не любим. И раз уж это случилось на нашей территории, мы решили вмешаться... Но это дело не простое: чувак уже куда-то утащил твои бока (часы то есть)... И нужно серьезно поговорить... Короче, я вас даже искал... и вот только что был у нее.— Он кивнул на Вальку.

— Ну? — (Что же я еще мог сказать?)

— Все наши сегодня будут на стадионе. Сегодня же матч с «Торпедо». Так вот, мы будем ждать вас за полчаса до

начала на перекрестке Красноармейской и Жилинской, возле Музкомедии... Два лишних билета для вас есть. А сейчас я тороплюсь... Чао!— И он побежал к воротам.

Мы переглянулись. Все это было неожиданно и странно. Мы ожидали всего, чего угодно, но только не этого... Будка и его компания в роли благородных рыцарей, борцов за справедливость?! Все это было очень похоже на обман. Но для чего им нас обманывать? Ведь в самом деле, доказать, что они взяли часы, мы не могли. И они имели полную возможность их присвоить. Теперь же мы можем свободно заявить в милицию, раз они сами сказали... Значит, Будка правда хочет нам помочь?

На срочном совещании, которое мы провели во дворе, было решено, что я и Ява идем на встречу с врагами к Музкомедии, а Валька бежит на студию и объясняет все Максиму Валерьяновичу,— ведь он даже не знает, куда мы подевались. После этого мы с Явой поехали домой— до матча оставалось еще много времени и можно было пообедать.

Дядя встретил нас веселым возгласом:

— Хлопцы, держитесь, сейчас я вам скажу одну вещь!— Он сиял.— Как вы думаете, куда мы сегодня идем? Не знаете? Так я вам скажу— на фут-бол! «Динамо» (Киев)—«Торпедо» (Москва). Важнейший матч сезона! Решается судьба первенства страны! Я вижу, вы растерялись... Еще бы! В своей Васюковке вы никогда такого в жизни не увидите... Или, может быть, вы недовольны? А? Может, не хотите идти на стадион? А?

— Это для тебя, болельщика, событие! А они нормальные люди,— подала голос из кухни тетя.— Верно я говорю?

— Нормальный человек не может не любить футбол!— отрезал дядя.

— Конечно, мы с радостью... Футбол! Ну да! А как же!— наконец проговорил я, опомнившись.

— Сектор «А»! Лучшие места!— сказал с гордостью дядя, вынимая из кармана билеты.

— Ого!— радостно сказал я.

...И до обеда, и во время обеда, и после обеда я ломал голову, как сделать, чтоб билеты на футбол у нас были, а дяди не было. Насколько билеты нам были нужны (чтоб не зависеть от врагов), настолько дядя был нам не нужен— он мог все только испортить.

Я долго крутился около дяди, как муха вокруг меда. Наконец решился:

— Дядя, вы, пожалуйста, дайте нам билеты, мы раньше пойдем...

— А почему не вместе?— удивился дядя.

— Да... нас ждут...— И я замаялся, уставившись глазами в пол.

Дядя окинул нас лукавым взглядом, усмехнулся и подморгнул:

— Та-ак... Ясно. А не рано вы, хлопцы, начали... А?

Мы дипломатично промолчали.

— Что ж... прекрасно. Натe билеты... Только смотрите... там такое творится...

Глава XI

«ДИНАМО» (КИЕВ) — «ТОРПЕДО» (МОСКВА)

Троллейбус уже трогался. И только мы вскочили, как двери за нами хлопнули и он поехал. Людей было полным-полно. Мы стояли на нижней ступеньке, уткнувшись носами в чьи-то брезентовые брюки. Чтобы отвернуть свои носы, мы притиснулись спинами к дверям. Но тут где-то вверху слышалось сказанное в микрофон: «Улица Ивана Кудри». Троллейбус остановился. Двери открылись, и мы уже думали, что сейчас выпадем. Ан нет! Снаружи так поднажали, что мы были подняты и втиснуты в глубь троллейбуса. Зажатые людьми, мы висели, не касаясь ногами пола. Ой-ой-ой!.. Ай-ай-ай!.. Лучше пешком ходить, чем так ездить!

Веселая кондукторша, примостившаяся где-то под потолком троллейбуса, все время выкрикивала:

— Кто забыл взять билетки? Я к вашим услугам! Я вот тут. Будьте добреньки, обратите на меня внимание. Молодой человек в берете, не отворачивайтесь! Я буду обижаться! А вы, мужчина, уступили бы старушке местечко... Кто еще забыл взять билетки? Будьте добреньки! Сегодня билеты стоят ох как дешево! Всего четыре копейки... Будьте добреньки!..

Мы старались не смотреть на кондукторшу. Нам совсем не хотелось ехать без билетов, но для этого нам нужно было взять деньги в зубы еще до посадки. А сейчас лезть за ними в карман и думать было нечего. Куда там! И рукой ворохнуть не сможешь. Так и ехали мы «зайцами» поневоле...

Несмотря на тесноту, настроение у людей было радостное. Они все время весело переговаривались с кондукторшей и между собой. По отдельным возгласам, таким, как: «Ух и накладем мы сегодня торпедовцам!», «Смотри, чтоб нам не наклали», «А я вам говорю: Борилович не меньше трех штук

забьет!»— мы поняли, что большинство пассажиров ехало на футбол.

На предпоследней остановке у Октябрьской больницы нас вынесли из троллейбуса, и мы очутились в бурном людском потоке, который тек мимо Дворца спорта к Центральному стадиону.

Неожиданно человек, который шел перед нами, метнулся в сторону к воротам, где толпилась какая-то группа людей. Толкая друг друга, они склонились над кем-то. Сперва показалось, что кого-то бьют. Но когда мы пробились туда, то увидели, что в центре стоит бабуса и торгует семечками. Она очень спешила, насыпала неполные стаканы и все время воровато оглядывалась. Потом вдруг подхватила свою кошелку и засеменила по улице. А все, кто был вокруг нее, как пчелиный рой, не распадаясь, перекатились за ней следом в другую подворотню. Мы переглянулись: что за диковина?! (Только потом уж дядя объяснил, в чем дело. Оказалось, что без семечек киевляне футбола себе не представляют, хотя в обычные дни семечек почти не лузгают. А в день футбольного матча за два часа болельщики вылузгивают целые вагоны подсолнухов. И очень засоряют стадион. Поэтому милиция не разрешает продавать семечки у стадиона. А торговки со всех киевских базаров собираются к стадиону нелегально и в подъездах и подворотнях торгуют своим незаконным товаром. Они хорошо изучили календарь игр и не пропускают ни одной. А некоторые бабуси даже заделались болельщицами. Распродав семечки, они идут с порожними корзинами на стадион и там хриплыми, базарными голосами кричат на футболистов.)

Пробираясь к Музкомедии, мы не переставали удивляться, чего это люди устроили такую кучу малу так рано — еще целых сорок минут до начала. А все бегут и толкаются, как будто уже началось!

Мы думали, что нам придется ждать Будку и его братию. Мы немного перестарались и пришли на десять минут раньше. Но вдруг я услышал над самым ухом пронзительный свист и голос Будки:

— Они уже тут!

И в тот же миг нас окружила знакомая ватага хлопцев. Но теперь на их лицах не было угрозы, а только любопытство.

— Так,— озабоченно проговорил Будка, роясь в кармане.— Вот вам билеты... Нет, нет, денег не надо, мы угощаем.— И он предостерегающе выставил вперед руку, хотя мы совсем не собирались давать ему денег. Наверно, эти слова

были заранее обдуманы и рассчитаны, как жест благородства.

— Спасибо,— с подчеркнутой вежливостью сказал я,— но билеты у нас есть,— и вытащил из кармана билеты.

В компании кто-то хихикнул. Будка съежился, но, видно, решил не сдаваться.

— А ну покажь! Может, какие-нибудь входные... Гм... Сектор «А»! Ну, тогда конечно... Нам еще лучше, мы их сейчас загоним в момент!— И он неожиданно громко крикнул:— Кому билеты?!

Миг — и Будка исчез из наших глаз: десятки жаждущих навалились на него. Это были те несчастные, с расстроенными лицами, которых мы встречали на каждом шагу на пути к стадиону. Все они жалобно спрашивали, как побирушки:

— Нет лишнего билетика?

— Нет лишнего?

— У кого лишний билет?

Те, кто имел билеты, гордо и независимо проходили мимо них, толкая и наступая им на ноги.

...Через полминуты мы наконец снова увидели Будку — он был такой встрепанный, как будто его били.

— Продавать билеты на футбол — все равно что под трамвай кидаться,— криво усмехаясь, сказал он и махнул рукой.— Идем на стадион! А то еще и на свои места не попадем.

— А когда же... о том деле поговорить?— спросил я.

— Потом, потом! После матча. Встретимся на этом месте...

Спорить было бесполезно.

Наверно, легче перейти границу какой-нибудь маленькой страны, чем без билета попасть на стадион в Киеве. Раз пять проверяли у нас билеты, пока мы добрались до нашего сектора «А»...

Когда мы сели, на поле футболисты уже стукали мячи. Но мы знали, что это еще не игра, а только разминка. Мячей было много, на каждого футболиста не меньше чем по одному, и бедные вратари суетились в воротах, как мыши, загнанные в угол, то и дело пропуская «штуки».

Пришел дядя (сразу стало тесно), хитро глянул на нас и хитро подмигнул. Мы для порядка опустили глаза — пусть думает что хочет.

Разминка кончилась, поле опустело. Прошло еще несколько минут, и на поле вышли трое: один в середине с мячом и двое по бокам с флажками — судьи.

Поставил главный судья мяч на середину поля, засвистел.

Из-под центральной трибуны выбежали команды. Выстроились, поприветствовали друг друга. Потом из публики вдруг выбежали на поле какие-то люди с букетами цветов — вручать футболистам. А те побросали букеты фотокорреспондентам, которые сидели на скамейке (и зачем тогда было вручать?). Но вот судья еще раз свистнул — игра началась.

— У-у-у-у-у!

— А-а-а-а-а!

— Канева давай, Канева!..

— А-а-а-а!

— Серебро давай! Давай Серебро!..

— О-о-о-о-о!

— Базилу передай! Передай Базилу-у-у!

— У-у-у-у-у-у!

— Дай Бибе! Бибе дай!

— А-а-а-а-ай!

Огромное корыто стадиона бушует, как кипящий котел... И кажется, что пар вздымается ввысь и собирается там в тучки.

...Возле нас сидел не то профессор университета, не то артист цирка. С одной стороны, он был очень похож на профессора — интеллигентное лицо, очки, бородка, портфель под мышкой. А с другой стороны... ну абсолютный циркач! Все время подсакивал, блеял, свистал, ржал, как жеребец. А когда киевляне забили гол, он подкинул свой портфель чуть не под облака, а потом поймал его одной рукой. Да так и не каждый циркач сможет! И не смолкал профессор-циркач ни на миг. Когда какой-нибудь футболист с мячом прорывался вперед, он подгонял его пронзительным:

— Пошел-пошел-пошел-пошел! — и верещал таким страшным голосом, каким даже «караул» кричать стыдно.

Верещал до тех пор, пока у футболиста не отбирали мяч. Тогда он с досадой махал рукой и кричал:

— Так и знал! Передавать надо! Базилевичу надо было передать!.. — И тут же переносил внимание на другого футболиста: — Ну ты смотри! Ну просто пасется!.. Бегать надо, бегать! Ты же футболист, а не корова!

Как будто бедному запыхавшемуся, задержанному футболисту и секунду передохнуть нельзя! Такой бессердечный болельщик!

Рядом с ним сидела женщина — наверно, его жена, — толстая, в самодельной шляпе из газеты. Она переживала молча, но так тяжело и шумно дышала, что свежего воздуха над стадионом, казалось, становится все меньше и меньше. Профессор-циркач то и дело успокаивал ее:

— Рыбонька, не волнуйся! Не волнуйся, рыбонька! Все будет хорошо. Наши выиграют.

Ява подмигнул мне и тихонько сказал:

— Если б эту «рыбоньку» в воду бросить, вот бы звук был, вот плеску было бы!

Я представил себе это и улыбнулся:

— Да-а...

Но и профессор-циркач и «рыбонька» недолго привлекали наше внимание. На поле было так интересно, что мы забыли про все на свете. Мы уже не были Павлушей и Явой, у которых свои характеры, вкусы, интересы. Мы были какой-то маленькой частицей огромного существа, которое называлось «стадион» и которое трясло как в лихорадке.

И когда судья несправедливо, как счел стадион, не присудил одиннадцатиметровый в ворота торпедовцев (а «рука» точно была!), мы вместе со всеми завyli, загорланили, надрывая животы:

— Судью на мыло! Судью на мыло!..

Ну прямо как живодеры... И не существовало в ту минуту на свете ничего, кроме одиннадцатиметрового удара.

Великая вещь — футбол! По-моему, он мог бы даже быть лечебным средством. Например, для лечения нервных больных. Да и от всяких неприятностей и плохого настроения футбол очень помогает. Во всяком случае, я на время матча про все свои неприятности забыл. И вспомнил только тогда, когда матч закончился. Нужно было снова отделаться от дяди.

— Ну, дядя, вы идите домой, а у нас тут еще дела...— сказал я, как будто мы были взрослые, а он ребенок.

— Ой, смотрите мне с этими делами!— сказал дядя.— Рано вы начали жениться. Глядите, чтоб батьки ваших Дульциней уши вам не навали.

Но из-за того, что киевляне выиграли у торпедовцев (3 : 2), дядя был в чудном настроении и отпустил нас.

На этот раз нам пришлось ждать. Минут десять, а то и больше. Причем это было совсем не так легко, как вы думаете, потому что мы не просто ждали, а... боролись. Все время боролись с неудержимым людским потоком, который старался смыть нас и выплеснуть куда-нибудь на Бессарабку или даже на площадь Калинина. И это требовало страшных усилий. Наконец показались ребята.

— Идем!— скомандовал Будка.

И мы, с облегчением вздохнув, поплыли по течению.

— Ну?— нетерпеливо спросил я, подруливая к Будке.

— Потом! Тут не место...

Вот уж тянет резину!

Мы выплыли на Бессарабку и нырнули в какой-то проходной двор, который вел на Печерск. И тут, в темной подворотне, Будка остановился.

— Значит, так,— сказал он тихим, конспиративным голосом, озираясь по сторонам.— У нас был разговор с этим чуваком. Мы едва уговорили его. Вот хлопцы скажут...

— Да, ага, ага! — вразнобой, но твердо поддакнули хлопцы.

— Он согласился отдать часы,— продолжал Будка.— Но... только ночью. Причем сегодня. Завтра будет поздно. Потому что утром он чешет из Киева — его ищет милиция...

— Ну? — У меня сжалось сердце.

— Железо! Часы у него в тайнике... в пещере... возле Лавры. Днем туда нельзя — прогонят... Так вот, договорились встретиться в полночь у церкви Рождества Богородицы, а точнее, возле могилы Кайсарова. Знаете?

Мы с Явой переглянулись. Одурачить, что ли, хотят? Неужели одурачить? Но зачем?! А хоть бы просто так... Что же делать? А что тут сделаешь!

— Боитесь? — презрительно сощурился Будка.— Ну, если боитесь, как хотите. Часы ваши, а не наши... Одни мы, конечно, не пойдем, нам-то что...

— Ладно,— сказал я.— Мы придем.

Если б это были мои собственные часы, я бы еще подумал, идти или нет. Но вы же сами знаете, что это за часы!

— До встречи,— весело сказал Будка.— Только не проспите!

Глава XII

КАЗАЦКОМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ. КОШЕ- ВОЙ КАРАФОЛЬКА. ПИСЬМО ЗАПОРОЖЦЕВ. НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ (ВОСПОМИНАНИЯ)

Вечер. Одиннадцатый час. Мы лежим на широченной, как Крещатик, тахте у открытой двери балкона.

Лежим тихо, не шевелясь — делаем вид, что спим. Ждем, когда заснут дядя и тетя, чтоб можно было потихоньку улизнуть.

Нет, должно быть, более тягостного ожидания, чем вот такое, когда лежишь без сна, неподвижно и ждешь. Да еще ждешь, не зная, что тебя ждет. Когда тебе нужно в полночь идти куда-то в жуткую темень к могилам...

В голову надоедливо лезут всякие страхи и воспоминания.

Воспоминания! Я, конечно, не Вольф Мессинг, я не могу читать чужие мысли на расстоянии, но, даже не глядя на Яву, который лежит рядом со мной, я готов поклясться, что он вспоминает сейчас то же самое, что и я... Уверен на все сто процентов! Он просто не может сейчас вспоминать что-нибудь другое... То было тоже ночью и тоже среди могил... И точно так же пересыхало в горле, и сжималось сердце, и немели ноги.

...Это было в прошлом году, в сентябре, как раз после «робинзонской» истории. Неожиданно к нам в село приехали археологи. Целая экспедиция из нескольких человек. Вернее, не совсем неожиданно... Двоих из этой экспедиции мы хорошо знали. Это были охотники из Киева, которые каждый год приезжали к нам на охоту да на рыбалку, им-то мы и ловили кузнечиков. С ними мы всегда держались немножко свысока и насмешливо, как со всеми городскими, кто так неприспособленно чувствует себя на селе. Мы посмеивались, когда они с трудом поднимались на заре на охоту, когда опрокидывались на наших лодках в плавнях, когда неумело, рняя до крови руки, они чистили рыбу. И мы не могли себе представить, что они так много интересного знают.

Вот ведь как бывает... Ездили они к нам на охоту и не думали ни о каких раскопках, ни о какой своей археологии, просто отдыхали, и все. Но вот как-то вечером, сидя у костра за кулешом, разговорились с нашими охотниками — дедом Варавой и дедом Саливаном — об археологии. И сразу забыли и про кулеш, и про охоту, и про все на свете... На следующий же день поехали в Киев (хоть оба были в отпуске и собирались охотиться целый месяц). И вот нагрянули к нам с экспедицией...

Оказалось, что край наш исторический и село тоже самое что ни на есть историческое и ужасно древнее. Что оно древнее, мы и так знали, но то, что историческое, как-то не задумывались. А оказывается, Васюковка наша лежала не только на знаменитом пути «из варяг в греки», за который мы получали двойки в школе, но еще и находилась на самом перекрестке походов славных запорожцев.

И под старым дубом, под тем самым, что за околицей Васюковки, останавливались передохнуть в холодке и Владимир Мономах, и царица Ольга, и Богдан Хмельницкий...

Разинув рты, слушали мы рассказы археологов про Запорожскую Сечь, про легендарного вожака казацкого Ивана Сирко, которого пятнадцать раз выбирали кошевым атама-

ном, чего не заслужил никто в истории Запорожской Сечи, и которого враги боялись «больше огня, больше бури, больше светопреставления»; о последнем кошевом Запорожской Сечи Петре Калнишевском, которого царица Екатерина II сослала в Соловецкий монастырь, где он просидел в сырой, холодной яме целых двадцать пять лет, но не покорился, не отрекся от казачества и, несмотря на нечеловеческие муки, прожил на свете сто двенадцать лет — такой был богатырь.

Мы ловили каждое слово... Вот это да! Вот какие были наши предки!

В тот же день экспедиция начала раскапывать казацкий курган в степи, километра за два от села. И конечно же, мы, мальчишки, до темноты пропадали там, на раскопках. И когда археологи откопали казацкое оружие (саблю, пистолеты), да еще и граненую бутылку из-под оковитой¹ (хоть и пустую), да еще деревянную люльку, на которой жемчугом было выложено изречение: «Казацкая люлька — добрая думка...» — мы чуть не попадали в яму. Это было незабываемое зрелище! Археологи сперва осторожно копали заступами, потом разгребали землю руками, а затем, нащупав что-нибудь, уж совсем не дыша, расчищали специальными щеточками... Мы смотрели как зачарованные. Из земли появлялись вещи, которые пролежали в ней больше трехсот лет.

Археологи сказали, что в кургане был похоронен какой-то славный запорожец из войска Ивана Сирко, так как именно тут разбивал свой лагерь Сирко, когда возвращался из Крыма, разгромив крымского хана у Сиваша. И, видно, как раз тут умер от ран один из его товарищей. Тут его и похоронили. А по обычаю запорожским клали в могилу казака оружие его, люльку и обязательно бутылку горилки, чтоб и на том свете было ему весело.

Мы долго разглядывали эти вещи, особенно пистолеты и саблю, ножны которой были отделаны серебром, а рукоятка из слоновой кости.

Ява вздохнул и прошептал мне на ухо:

— Вот если б знать... Мы бы сами могли откопать!

Кроме кургана, экспедиция вела еще раскопки у дуба. Правда, выкопали только один ржавый кухоль² с крышкой, но сказали, что это кухоль чуть ли не самого Ивана Сирко.

Потом археологи ходили по селу, подолгу разговаривали с самыми старыми нашими дедами и бабками — интересовались легендами, преданиями, а также потомками казаков-

¹ Оковитая — водка.

² Кухоль — кружка.

запорожцев. Особенно долгой была беседа со стосемилетней бабушкой Триндичкой.

— Скажите, бабуся, будьте добреньки, кем были вашн отец и дед?—ласково спрашивал ее низкорослый толстяк археолог Сидоренко (тот самый, что однажды утопил в плавнях ружье).

— Ага... были, сынку, были...—радостно кивала Триндичка.

— Кем же они, бабуся, были?

— Ага,—кивала Триндичка.

— Или, может, просто мужичками, гречкосеями?

— Ага,—кивала Триндичка.

— Гречкосеями?—разочарованно переспрашивал Сидоренко.

— Сеяли гречку, сеяли...—радостно кивала Триндичка.— И просо, и овес... А под окошком хаты мак...

Так ничего от бабки и не добились.

Очень интересовалась экспедиция также самыми старыми на селе хатами—теми, что под соломенной крышей, что в самую землю вросли и мохом взялись. Их было уже немного, и археологи каждую из них облазили сверху донизу, во все закоулки заглянули. И тут случилась неприятность, для нас неожиданная. Осматривая хату, где живет Карафолька, Сидоренко вдруг поднял такой радостный гвалт, будто нашел золото. На потолочной балке, под слоем побелки, он обнаружил надпись: «Сию хату поставил в 1748 году 10 апреля казак Титаровского куреня Гаврила Карафолька».

— Смотрите, смотрите!—восторженно кричал Сидоренко.— Это же история! Это ж архитектурный памятник... Берегите, люди добрые, берегите эту хату... С сегодняшнего дня мы берем ее на учет... Это ж такая редкость...

Вся семья Карафольки была приятно удивлена—они сами не знали, в какой знаменитой хате живут. В тот же день выяснилось, что и дед Саливон—праправнук запорожского сотника, и председатель колхоза Иван Иванович Шапка—потомок запорожцев, и учительница Галина Сидоровна казацкого роду.

У нас всегда уважали стариков, но такого успеха они не имели никогда. Целыми днями старики не закрывали рта—вспоминали. Дедов и прадедов, бабушек и прабабушек... И если послушать, так все эти бабуси, как правило, были необыкновенные красавицы, а деды такие силачи, что ой-ой-ой (один быка когда-то поборол, другой подводу с картошкой поднял, третий дуб из земли выворотил). Плюгавых, квелых, кривых, горбатых предков не было ни у кого.

Разница только в том, что одни красавицы и силачи были казацкого рода, другие — мужицкого. И тут ничего не поделаешь. Предков не выбирают и не заказывают. Кузьма Барило был казацкого рода, Вася Дергач — казацкого, Гребенючка — казацкого. А мы... Особенно мы не могли пережить, что Степа Карафолька, староста класса, отличник и вообще положительный тип, которого нам ежедневно ставили в пример и которого мы из-за этого терпеть не могли, — Степа Карафолька, в ком не было ни на грош ничего казацкого, был прямой и непосредственный потомок славного запорожца. А мы... У меня еще хоть был где-то далеко по материнской линии какой-то казак-бродяга, а у Явы — никогошеньки, одни только... гречкосеи!

— Диду, неужели у нас в роду так и не было ни одного запорожца? — с надеждой допытывался Ява у своего деда Варавы.

— Не... что-то не припомню.

— Вот еще! — сердито отворачивался Ява (как будто дед был виноват).

— Дурень ты, — спокойно говорил дед. — Да что там твои казаки без гречкосеев стояли бы... Кто б их кормил? С голоду поумирали б... А когда земля наша бывала в беде, то не только казаки, но и гречкосеи шли ее защищать. Брали косы, брали вилы и не хуже казаков били врага.

Но на Яву дедова агитация не действовала. Бормоча: «Да-а... не могли уж на бабушке из казацкого рода жениться...» — хмурый Ява уходил прочь.

— И все им новую, новую нужно! Не могли еще немного в старой хате пожить, — сквозь зубы цедил Ява, с ненавистью глядя на новехонький дом свой под железной крышей. — Может, и у нас на потолке что-нибудь было написано... Дед же старый: много знает, а еще больше забыл...

Ява не мог примириться. Ява страдал. Тем более, что Карафолька ходил задравши нос и только плевал сквозь зубы в нашу сторону (словами задеть боялся, потому как знал, что мы, несмотря на предка, показали бы ему где раки зимуют).

И все же его задранный нос и цирканье сквозь зубы еще можно было бы пережить. Но он допек нас другим. Он устроил на выгоне «Запорожскую Сечь»... Войско было набрано только из «потомков». И кошевым единогласно выбрали Карафольку.

В вышитой сорочке, в широченных красных шароварах, в которых его брат танцевал когда-то в самодеятельности, нахлобучив дедовскую папаху, которая валялась до того в

курятнике и была такой старой, что даже куры неслись в ней без особого удовольствия, гарцевал Карафолька перед своим войском. Водил его в походы, устраивал гульбища и казачьих удалые забавы.

Мы сидели в кустах и слушали, как раздавался над выгоном лихой запорожский напев:

Ой пан иль пропал — двум смертям не бывать,

Гей вы, хлопцы, на коней! В жарком деле побывать, славу добывать!

Мы скрежетали зубами. Мы никогда не чувствовали себя такими одинокими, оскорбленными и несчастными. Мы, как раз мы-то, по своей удали и должны были быть кошевыми атаманами... Мы, а не примерный Карафолька. Эх, залимонить бы ему сейчас в нос его задранный!..

И что бы такое ему подстроить, чем бы подковырнуть?

— Слушай, Ява,— пронзило меня вдруг.— Ты помнишь «Письмо запорожцев турецкому султану»?

— А? Ну и что?

— Напишем им такое же письмо.

— Как? Они же сами запорожцы.

— Какие они к черту запорожцы! Разве они настоящие? Как бы не так! Самозванцы. Подумаешь, предки!.. Так и напишем: предки ваши молодцы, а вы черт те кто... Само письмо запорожцев у меня дома есть, в книжке «Украина смеется». Переделаем, и будет — во!

— Идем!

Мы взяли у меня книжку и пошли к Яве. У него над столом как раз висела картина Репина «Запорожцы». Усевшись под картиной и глядя на то, как весело запорожцы писали письмо султану, мы начали свое. Это была каторжная работа.

И вот наконец после долгих мук родилось на свет «Письмо настоящих запорожцев самозванцу лжекошевому, плюгавому отличнику Карафольке и его задрипанному войску»:

Ты — шайтан дурацкий, проклятого черта брат и товарищ и самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь? Какой ты запорожец, да еще и кошевой? Слюнтый ты шепелявый! Дырка от бублика! Репей с хвоста собачьего! Латка на дранных штанах, шматок отличника недогрызеный! Твоего шелудивого войска мы не боимся, землю и водою будем биться с тобою! Не казаком тебе называться, а в куклы с бесштаннами играть! Не стоишь ты доброго слова, пусть съует тебя рыжая корова! И в голове у тебя не мозги, а полова, пугало ты огородное! Вот как мы тебе выдаем, плюгавый! И за это поцелуй нас в грязные, потрескавшиеся пятки, ведь братья твои — поросятки! Ось-ось-о!

Мы написали все это большими буквами на полуметровом куске обоев, что остались после строительства новой хаты. К обоям на толстой веревке вместо печати прицепили сухую коровью лепеху. Вышло, на наш взгляд, очень здорово.

Выделявая губами: «Трум-тум-ту-ру-рум-тум-тум-тум!» — отправились на выгон и торжественно вручили Карафольке «пергамент».

Мы были уверены, что после нашего письма авторитет Карафольки падет и загрохочет, как пустое ведро.

Но в тот же день мы получили очень сдержанное и вежливое письмо-ответ:

Дорогие друзья! Вы ругаетесь очень забористо, но это только потому, что вы не казацкого роду и вам обидно. Мы прекрасно это понимаем. Мы с удовольствием прочитали ваше письмо и даже согласны принять вас в свое запорожское войско писарями, хоть у вас и двойки по языку.

Между прочим, «недогрызенный» пишется с двумя «н», а «дра-ный», наоборот, с одним (см. правило в учебнике грамматики, стр. 24, § 23).

С приветом.

По поручению славного войска запорожского
кошевой

Степа Карафолька.

Это было хуже, чем если бы он каждого из нас при всех положил на лопатки.

Мы не смотрели друг другу в глаза. Такого тяжелого поражения мы еще не переживали. Никогда мы еще не выглядели так жалко перед товариществом васюковских хлопцев. Нужно было что-то делать. Ведь еще немного — и даже сопливые первьяки будут вытирать руки об наши головы.

— Вот если б нам настоящую казацкую саблю... — вздохнул я, — или пистолет, как те, что археологи выкопали... Полетел бы Карафолька из кошевых тут же!

— Точно! — встрепенулся Ява. — Саблю... или пистолет! Вот было бы... Сила! С настоящим казацким оружием кого хочешь кошевым выберут...

— Где ж его взять? — безнадежно спросил я.

— Выкопать! — сощурился вдруг Ява.

— Где? Так оно тебе и лежит под землей... Один казацкий курган возле села был, да и тот уже — фить!

— А на кладбище?

— Ты что?! Бррр...

— Голова! Разве я говорю — свежие могилы раскапы-



вать? Тоже мне! Знаешь старые могилы с краю, по-над шляхом? Без крестов, едва заметные в траве. Сколько им лет? Двести, а то и больше... Мне еще дед Саливон как-то говорил, что там его прадед похоронен... А он кто такой был? Казак, запорожец. А как запорожцев хоронили? С оружием. Вот и усекай...

— Так-то оно так... А все-таки кладбище... Мертвецы...

— Да какие там мертвецы?! Череп, несколько косточек — вот и все. Ты ж видел, когда археологи копали. Что там может быть, если он двести лет в земле пролежал... Посмотришь, что от тебя останется через двести лет...

— Все-таки... Даже череп... Как-то оно...

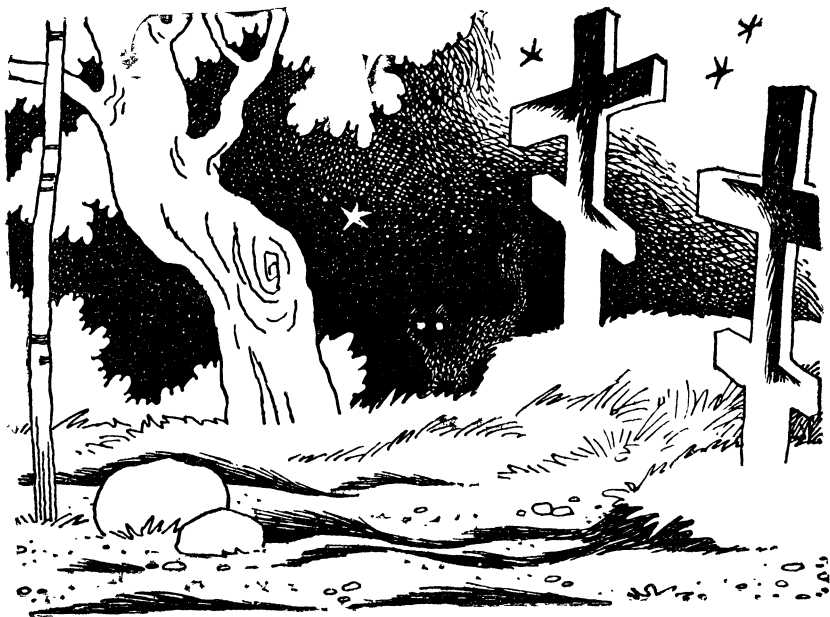
— Да мы этот череп и трогать не будем, — раздраженно прервал меня Ява. — Саблю и пистолет аккуратненько выкопаем и снова зароем могилу. Никто и не заметит.

— Да, может, хоть деда Саливона спросить?

— А разве это его собственность? Это ж не картошку на его огороде копать... Да и как ты спросишь: «Разрешите вашего прадеда выкопать?» Так, что ли?

— А когда ж копать? Днем?

— Ну, днем, если увидят, сразу по шеям надают.



— А когда ж?

— Ночью.

— Да?

— Ты что, боишься?

— Да нет, но...

— Вот ты хочешь и настоящее казацкое оружие иметь, и чтоб все было, как в магазине. Больно хитрый!

— Ну ладно,— вздохнул я.— Попробуем.

...Вы бывали когда-нибудь ночью на кладбище? Если не бывали, то и не ходите. Страшно... Так страшно, что сердце останавливается.

Это я теперь говорю, а тогда... Разве я мог показать Яве, что я боюсь, когда он, чертяка конопатый, вел себя так, будто не на кладбище ночью идет, а в клуб на кинокомедию.

— Это трусы, заячьи души выдумали, что на кладбище ночью страшно,— весело сказал он.— А на самом деле, чего бояться? Живых нужно бояться, а не мертвых. Мертвые тебе уж ничего не сделают. Помнишь, Том Соьер и Гек Финн тоже ходили ночью на кладбище... И ничего.

— Ну уж... ничего...— криво усмехнулся я.— Только у них на глазах индеец Джо убил доктора...

— Ну и что? Подумаешь. Ведь не их же...— Ява, видно, забыл про индейца.— Скажи лучше, что ты просто боишься.

— Чего ж это мне бояться?— проговорил я, едва сдерживая дрожь в голосе. И зачем я вспомнил про индейца, про то убийство?

...Мы прошли мимо крайней хаты и направились к кладбищу. На фоне туманного неба вырисовывались кресты. Луна проглядывала сквозь тучи, с трудом освещая дорогу. Позади в темной тишине спало село, даже собак не было слышно. За кладбищем, слева, чернел лесок, а справа голая степь тянулась до самого горизонта. И нигде ни души. Казалось, что в мире только мы и это кладбище. Пригнувшись, мы стали пробираться через кладбище, стараясь не смотреть по сторонам и не присматриваться к могилам. У каждого в руках лопата. Кроме того, у меня была еще сапожная щетка (вместо специальной археологической— где ж нам было взять ее?), а у Явы фонарик, тот самый, механический с динамкой, что я ему когда-то подарил.

Тихо перешептывалась под ветром в вышине листва деревьев. Где-то поскрипывала сухая ветка, будто кто-то ходил во тьме по кладбищу и скрипел деревянной ногой.

Вспомнил я вдруг, как хоронили недавно, летом, старенькую прабабушку Пети Пашко. У нас на селе умирали не часто, и, конечно, все мы были на похоронах. Я хорошо запомнил ее лицо, морщинистое и будто с усмешкой.

И представилось мне, как лежит она сейчас вот тут, совсем рядом, под землей в гробу. Открывает глаза, шевелится, хочет подняться. Я где-то читал, что иногда ошибочно хоронят тех, кто в летаргическом сне, а в могиле «мертвецы» просыпаются и... Волосы зашевелились у меня на голове, встали дыбом, перехватило дыхание... И тут— вжик, вжик!— словно заскрипели кости.

Это Ява фонариком.

— Вот тут...— шепчет, освещая едва заметный в высокой траве холмик могилы.

— И-не... и-не вж-жикай... л-лучше уж в темноте копать...

Ява и сам понял, что этот фонарик не для кладбища,— больше не вжикал. Несколько секунд мы молча стояли, прислушиваясь. Потом взялись за лопаты. Одновременно воткнули их в землю, нажали ногой.

И вдруг... Мы так и застыли... Из-за могилы из темноты на нас смотрели большие зеленые глаза. Над ними торчали... рожки! А потом (даже теперь я не могу спокойно это вспоми-

нать) оттуда донесся нечеловеческий, душераздирающий крик... Такого крика я не слышал никогда в жизни.

В следующее мгновение...

— А-а-а!

Я не припомню, кто из нас первый закричал, но то, что кричали мы оба, это уж точно.

Мы не бежали, мы летели, почти не касаясь ногами земли... Такой скорости, должно быть, не знала наша Васюковка за всю свою многовековую историю. Мы влетели во двор к Яве (он был ближе) и, заперев калитку, подперли ее поленом.

Можете смеяться, но той ночью мы спали в собачьей будке. Спали, прижавшись с обеих сторон к здоровенной овчарке Рябке. Это была такая злющая псина, что могла самого черта загрызть. И как ни убеждали мы себя утром, что мы олухи, что это был самый обыкновенный кот, что как раз коты иногда и кричат так истошно, о новом ночном походе не могло быть и речи. Мы тайком позабирали с кладбища свои лопаты и никому ни слова не сказали о нашем приключении.

Скоро начались дожди, потом зима, и «Запорожская Сечь» на выгоне распалась сама собой. Мы с Явой смастерили из старого трехколесного велосипеда ледовый самокат, и утраченный авторитет вернулся к нам снова.

Но после той ночи я сказал себе: «Павлуша, ты никогда больше не пойдешь ночью на кладбище. Ты должен стать летчиком, и тебе совсем ни к чему, чтоб ты начал дергаться и заикаться от страха. Пусть враги твои туда ходят. Пусть они дергаются и заикаются».

А видите, не прошло и года, как я снова собираюсь ночью на кладбище.

И хотя, как всегда, только при одном воспоминании о той ночи у меня уже полна пазуха мокрого, скользкого, холодного страха, я говорю себе: «Нужно идти, Павлуша. Если б это нужно было тебе самому, ты бы ни за что не пошел. Но тут дело, ты знаешь, сложное. И ты пойдешь. Потому что должен вернуть часы хозяину любой ценой».

Я слышу, как рядом со мной вздыхает Ява. Я знаю — он думает о том же самом.

Мы лежим и ждем, пока заснут дядя с тетей. И хоть двери в их комнату закрыты, мы точно знаем, что они еще не спят. Потому что тихо. А когда они заснут, мы сразу услышим. Да и не только мы: в соседнем доме услышат, ведь окна открыты. Вы не думайте, я очень уважаю дядю и тетю. Они хорошие, добрые и сердечные люди. Дядя передовик производства (на Доске почета висит) и, кроме того, мастер спорта. А тетя такие коржики печет — умереть можно от

удовольствия! Но что поделаешь, если они... Ш-ш! Стойте! Начинается! Вот послушайте!

— Хррр-у-у-у... Аур-ур-уррр... Хррррау... Ав-ав-ав... Сь-сь-сю-у-у... Хррря-а-а... Хр-хр-хр-пфу-у-у...

Заснули!

Казалось, будто мы попали в пасть к ревушему льву или тигру. Вот уж храпят дядя с тетей, ну и храпят! Если бы кто устроил соревнования в этом деле, они наверняка бы стали чемпионами мира!

Мы встаем и одеваемся. Теперь хоть из пушки пали — они не услышат...

Глава XIII

НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ВЫСТРЕЛ В ПЕЩЕРЕ

Мы выходим на балкон. Достаем из-под ящика еще днем спрятанную веревку, привязываем к перилам. Только не думайте, что это мы для какой-то романтики. Боже сохрани! Просто мы вынуждены спуститься с балкона по веревке, потому что в двери выйти невозможно — некому за нами запереть.

Да и тетка на ночь ключ к себе в комнату забирает.

Второй этаж — совсем не высоко. А лазим мы, как обезьяны. Еще и узлов на веревке понавязали, чтоб легче было.

Везде темно, лишь на пятом этаже светятся два окна, как будто глаза самого дома. Там мелькают фигуры и слышится музыка — наверно, справляют новоселье (прошла только неделя, как дядя с тетей переехали в этот новый дом у Печерского моста). И оттого, что где-то рядом люди не спят, а веселятся, ночное наше путешествие кажется мне уже не таким страшным и необычным.

Придает мне духу еще и то, что в кармане я крепко сжимаю пистолет — стартовый пистолет дяди. После долгих раздумий и колебаний мы решили его все-таки взять на всякий случай. Но раз уж мы твердо решили быть всегда честными, то написали дяде письмо и положили его вместо пистолета. Вот это письмо:

Дорогой дядя Гриша! Простите и не сердитесь, что мы взяли ваш стартовый. Он нам до зарезу нужен! Мы идем на серьезную операцию. Может, и не вернемся. Тогда ищите наши тела в подземельях Лавры. Иначе мы не могли. Дело идет о нашей чести. Мы обязательно должны вернуть одному человеку его вещь. Мы не хотим, чтоб нас считали ворами.

На всякий случай прощайте.

Павлуша, Ява.

А костюм мой новый перешлите тогда маме.

Я в а.

А мой велосипед пусть отдадут двоюродному брату Володе.

П а в л у ш а.

Что ни говорите, а ночью в Лавру, к могилам, где всякие мертвецы, страшно идти. И так не хочется отдаляться от этих окон освещенных, от музыки их веселой. Но нужно спешить!

Мы сели в какой-то пустой трамвай, который со скоростью, по-моему, вдвое большей, чем днем, помчал по улицам, все время тренькая на ходу, как будто со страху. Сошли мы на площади Славы — там, где вечный огонь и могила Неизвестного солдата. И пешком направились к Лавре. Пересекли знакомый Валькин двор. (Знала бы она, что мы сейчас тут! Храпит себе, десятый сон видит!)

Прошли за флигель и тропкой, что вилась среди цепкой колючей дерезы, начали спускаться к церкви Рождества Богородицы. В груди стучало все сильнее и сильнее. И что это за свойство такое у темноты — каждый кустик населять ужасными, странными существами, которые шевелятся там, готовые вот-вот кинуться на вас. Даже места, днем веселые и светлые, кажутся ночью страшными и зловещими. А что уж говорить о кладбищах, церквях, подземельях, куда и днем-то не очень весело заходить.

Внезапно, словно извещая кого-то о нашем приходе, покатылся с неба звон. Раз... Другой... Третий... Мы остановились, вглядываясь в зловещую темноту. Было такое чувство, что колокол забивает нам в сердце какие-то ледяные гвозди. Бомм!.. Бомм!.. Бомм!..

— Ча... часы на Лавре... двенадцать бьют! — прошептал Ява.

Мы пошли дальше. Мы не сговаривались, но оба старались ступать как можно тише, почти беззвучно — будто хотели, чтобы не услышал тот, кто подстерегал нас за каждым кустом. По спине и затылку бежали мурашки, словно чьи-то руки тянулись к нам из темноты и щекотали сзади. Я старался не оглядываться, чтобы вдруг не увидеть зеленые глаза.

Когда мы были уже у самых ворот, в кустах что-то зашуршало, там кто-то метнулся и вскрикнул. Мы присели, затаились, втянули головы в плечи. И я так стиснул пистолет, что чуть не выстрелил. Хорошо, что спусковой механизм у этого стартового рассчитан на спортсменов и очень тугой, а то я наверняка бабахнул бы с перепугу у себя в кармане. Пропали бы тогда мои новые шевиотовые брюки.

Прошла минута. Никто не нападал. «Это, наверно, кто-то из Будкиных друзей»,—решили мы, подняли головы и расправили плечи.

«Нельзя, чтоб они решили, что мы боимся,—подумал я,—нужно идти, печатая шаг, и смеяться...» Но мои ноги не слушались, и на плоских камнях сводчатого подворья «Звонницы на Дальних пещерах» пошли опять по-кошачьи — тихо и беззвучно. А смех так глубоко застрял у меня внутри, что даже сам я его не услышал. Зато я услышал другое. Из-за надгробия на могиле генерала Кайсарова вдруг донесся приглушенный голос:

— Да перестань... Раз уж так, заведем — и все... Никто уже не придет... Просто не смогли выйти из дому. Точно...

Голос был знакомый, но не Будкин.

— Ошибаетесь! Мы пришли! — неожиданно громко сказал Ява.

Я даже вздрогнул.

— Га! — будто испуганно гакнули за надгробием. И на фоне неба над каменной глыбой появились три головы.

— А... это вы, — послышался голос Будки, в котором звучало, как мне показалось, не то разочарование, не то недовольство — будто он ждал кого-то другого.

Они вышли из-за памятника. Будка, за ним небольшой хлопчик, которого мы заметили еще во время драки, и высокий, худощавый малый в черной маске — должно быть, «чувак».

Я невольно вздрогнул: что ни говорите, а черная маска ночью, да еще в таком месте, производит нехорошее впечатление. «Да, приходится вздрагивать чуть не каждую минуту. Если дальше так пойдет, то я буду непрерывно дергаться и дрожать как в лихорадке. Нужно взять себя в руки», — подумал я. Но брать себя в руки было не так-то просто — не давался я себе в руки!

— Фонарики у вас есть? — спросил Будка.

— Нету.

— Это плохо.

Конечно, плохо, мы и сами знали. Но что поделаешь?.. Как назло, тот «динамический», что я когда-то подарил Яве, сломался, а «батареечного» мы как-то по глупости не достали и у дяди дома не было (вот если б знать, что у нас будут такие ночные приключения!). На всякий случай взяли мы коробку спичек. Да разве сравнишь спички с фонариком!

— Ну ничего, у нас есть, как-нибудь обойдемся.

Мне показалось, что Будка был даже рад тому, что у нас нет фонариков.

— Идем! — не давая нам опомниться, сказал Будка.

Мы вышли со двора Лавры за крепостную стену. От самого подножия стены сбегала вниз деревянная узенькая лесенка с перильцами.

Над лесенкой нависли ветви деревьев, темно было, хоть глаз выколи, и казалось, что мы спускаемся в самую преисподнюю.

Откровенно признаться, мне было страшно и очень хотелось как-то дать понять этим крокодилам, что у меня есть пистолет, и если они что-нибудь, то я... Но как это сделать, я не знал.

Будка и «чувак» освещали дорогу карманными фонариками, но от этих двух дрожащих пятен света, что прыгали по ступенькам, было, по-моему, еще страшнее. Спустившись вниз, мы почему-то снова начали подниматься вверх (и опять-таки вдоль стены Лавры). Поднявшись немного, свернули направо и пошли по асфальтированной дорожке, которая извивалась между ветвистых деревьев. Шли молча. Наконец я отважился и шепотом спросил у Будки, который шел рядом со мной:

— А почему этот... в маске?

— Для конспирации,— таинственно прошептал Будка.— Я же вам говорил — его милиция ищет...

«Тю,— подумал я,— по-моему, в наши дни черная маска не только не маскирует, а наоборот. Если ты идешь, как все, то еще можно как-нибудь проскользнуть, чтобы тебя милиционер не заметил, а если ты в черной маске, милиционер тебя тут же — цап! — и в отделение».

И вдруг меня стукнуло, что теперь-то самое время сказать.

— Ничего,— говорю,— милиция нам до лампочки! У нас кое-что есть! Вот посвети.

Будка направил свет фонарика на мой карман, и я наполовину высунул стартовый пистолет.

— Что?!

— Да ведь мой дядя... (Тут я чуть было не сделал промашку, чуть было не сказал «в милиции работает», но вовремя спохватился — только ведь было «милиция до лампочки».) Ведь мой дядя пограничник,— говорю.— Так вот мы и прихватили у него на время «Макарова»... Как раз на случай милиции...

— А... а это... это здорово... это хорошо... — промямлил Будка. Такого он никак не ожидал.

Ява пристально посмотрел на меня — он стоял совсем близко, и при свете фонарика я хорошо видел его взгляд. Он означал: «А как же наш уговор насчет вранья и щелч-

ков?» Я в ответ кивнул: «Не бойся, мол, все правильно; если врагу говорят неправду, то это никакая не брехня, а тактика...»

«Чувак» и другой малый шли впереди, нашего разговора не расслышали и ничего не поняли. И когда мы двинулись дальше, Будка как бы ненароком оторвался от нас и приблизился к «чуваку».

— Что там такое?— тихо спросил «чувак».

— У них пушка,— совсем тихо сказал Будка, думая, что мы не услышим.

Но у меня такой слух...

— Настоящая?— встревоженно прошептал «чувак».

— Системы Макарова... У него батька пограничник.

— Да?.. Она, наверно, без патронов.

Больше перешептываться они не смогли, так как мы их нагнали. Мы сделали вид, что ничего не слышали. То, что они пришли в замешательство, было ясно. И это хорошо! Пусть знают, что с нами шутки плохи. Если они задумают что-нибудь, мы им...

Мы свернули с асфальтированной дорожки и пошли по склону вниз, продираясь сквозь заросли. Потом остановились... При тусклом свете карманных фонариков мы увидели выложенный старым замшелым кирпичом вход в какой-то подземный коридор. Выбегая оттуда, журчал у нас под ногами ручеек.

— Вот она... пещера Лихтвейтеса,— торжественно сказал Будка.

— Лейхтвейса,— не без ехидства поправил Ява. (Конан-Дойля мы знали не хуже их!)

Из пещеры «Лихтвейтеса» пахнуло сыростью и холодом. И мне показалось, что оттуда тянет могилой. Бррр!..

— Так, может, мы тут подождем, а он вынесет?— кивнул я на «чувака».

— Ну, если вы боитесь, пожалуйста...— насмешливо сказал Будка.

Вот гад! Ну ладно!

— Идем!— скрипнув зубами, сказал я.

Что бы там ни было, я должен достать часы!..

— Идем!— сказал Будка.

Первым в пещеру, пригнувшись, вошел «чувак», вторым Будка, потом я, за мной Ява, последним должен был идти маленький. (Но как потом выяснилось, он в пещеру даже не заходил, а сразу пустился домой.)

Подземный коридор был невысокий и узкий, идти можно было только гуськом, пригнувшись. Мы шлепали босыми но-

гами по мокроте, ноги сводило от холода. Я вдруг остро почувствовал, что я под землей,—вокруг меня сырость, потемки и страх. И земля будто давит на меня, душит сверху, со всех сторон. Ну точнехонько как в могиле.

«Чувак» и Будка, которые шли друг за другом впереди меня, освещали себе дорогу фонариками и сливались в один двуголовый, четверорукий и четвероногий силуэт. Мы повернули один раз, второй — вправо, влево... Мне уже казалось, что вот-вот (как это всегда бывает в приключенческих романах) мы выйдем в высокую, освещенную залу пещеры, где в большом сундуке с награбленными сокровищами лежат «наши» часы... И вдруг...

Вдруг мне словно накинута на голову одеяло. Двойной силуэт «чувака» и Будки исчез. Сплошная непроницаемая тьма окутала меня. Я невольно остановился. И сразу почувствовал, как Ява наткнулся на меня сзади.

— Что?—приглушенно спросил он.

— Эй! Где вы?—сдавленно крикнул я. И замер, напрягая слух.

В ответ ни слова. Только черная, холодная подземная тишина. Лишь где-то в глубине этой тишины слышался шум воды — как будто из водосточной трубы.

— У-у, гады!—в отчаянии крикнул я.— Стой! Стрелять буду!—и, выхватив из кармана пистолет, что есть силы нажал на спуск.

Ба-бах!—полыхнув молнией, прогремел выстрел.

— Атас!—испуганно закричал кто-то совсем близко.

И что-то захлюпало по мокроте, будто десятки жаб бросились врассыпную. Потом вдалеке что-то шлепнулось, кто-то вскрикнул — и звук потонул в бездонной тишине.

Ява зашуршал спичками, вынимая коробок из кармана. И вдруг — ой! — что-то упало в грязь.

— Упустил,—растерянно прошептал Ява.

Я слышал, как он шлепал рукой по слякоти, разыскивая. Но напрасно — спички наши уже никуда не годились. И тут я почувствовал весь ужас и безвыходность нашего положения.

Мы были без огня, одни в запутанном подземном лабиринте, в полнейшей темноте. Выбраться отсюда можно было только наугад. Но можно было и совсем заблудиться. А если учесть, что в таких пещерах часто живут ядовитые змеи, летучие мыши, гигантские крысы и другая погань, то...

— А ну бахни еще раз, я найду...—жалобно сказал снизу Ява.

Я судорожно нажал на спуск. Ба-бах!.. На какой-то миг

при вспышке я увидел виновато опущенные плечи моего друга. «Как он теперь, должно быть, переживает, что уронил спички»,—подумал я (в минуту беды всегда сочувствуешь другу).

Внезапно где-то рядом раздался дрожащий Валькин голос:

— М-мальчики, не стреляйте! Что вы делаете?!

Валька! Откуда она здесь?!

— Э-эй! Где ты? — радостно крикнул я.

— Т-тут...— И в нескольких шагах от нас, за Явиной спиной, неожиданно вспыхнул фонарик.

— Да ты с фонарем! Вот здорово! А то мы спички потеряли,—бодро заговорил Ява, приосаниваясь. И он — в который уж раз — гордо глянул на меня: снова *его* Валька нам пригодилась. Да еще в такую минуту! Это уж прямо как в кино...

— А ты-то как здесь очутилась?—спросил я.

— Да потом... Идемте отсюда... Тут так страшно...

Да и то правда, поговорить мы еще успеем. И мы торопливо зашлепали к выходу.

У-ух!.. Как же хорошо из подземного, промозглого холода попасть в теплые объятия звездного летнего неба! И какими симпатичными кажутся эти хмурые темные деревья! Насколько лучше все-таки на земле, чем под землей!..

— А что это вообще за пещера?—спросил я, озираясь на черную разинутую пасть подземелья.

— Да это же дренажная система. Для отвода подземных вод,—сказала Валька.

И от этих будничных слов «дренажная система» подземелье сразу потеряло свою страшную таинственность и стало понятным, чем-то вроде канализации (хотя я и в канализацию ночью б не полез).

— Так что ж, они вас завели и бросили? Да?—спросила Валька.

— Да кто их знает,—пожал я плечами.— Они попрятались и молчат. А когда я стрельнул, они: «Ата!» — и побежали. Кто-то из них даже шлепнулся по дороге! Аж загудело!.. Если бы у нас был фонарик...

— Ой, мальчики!—схватила Валька руками за щеки (даже фонариком себе по виску стукнула).— Там же колодцы! Может, он убил!..

— Что? Какие колодцы?

— Да дренажные! Вы слышали, вода шумит? Там идет коридор, а потом — раз! — колодец, а потом снова коридор.

Там, где вы были, один ход на склоны выводит, а другой — к колодцу. А колодец глубокий, метра два, а то и больше. Ой, мальчики!

Мы с Явой переглянулись.

— Идем?— сказал Ява.

Я кивнул.

Это было все равно что утопленнику, которого только-только вытащили, снова лезть в воду.

— Дай фонарик,— сказал я Вальке.

Держа в одной руке фонарик, в другой пистолет, я сделал резкий выдох (как на старте) и первым нырнул в подземелье. Как-то уж так получилось, что во всей этой истории мне приходилось быть впереди. Из-за меня заварилась вся эта каша с часами, мне ее первому и расхлебывать!

Я шел и чувствовал себя разведчиком, что идет на смертельно опасное задание. Мне не было страшно ни капельки. Сзади сопел Ява, за ним шмыгала носом Валька. И вообще... мы же идем по самой обычной дренажной системе. Подумаешь! Только чего это так тенькает под ложечкой? Вот еще эта «подложечка»!.. Тенькает, когда ее не просят... Ничего ведь страшного!.. Мы же идем вытаскивать Будку, который, может быть, убили, упав в колодец. Ой! Чтoб тебе!.. Прямо из-под ног у меня скакнула в сторону здоровенная жабища. Тыфу!

А вот и то место, до которого мы было дошли. Конечно! Вон еще и спички наши размокшие лежат. О, тут коридор заворачивает и разветвляется! Теперь ясно: они погасили фонарики и бросились за угол. А потом, когда я стрельнул, кинулись наутек. Один побежал этим коридором. А может, они оба побежали сюда? Тогда никто ни в какой колодец не падал и не убивался, и мы только зря идем. Ну и прекрасно! Что ж, разве я хочу, чтоб кто-то убивался? Боже сохрани! Но все-таки нужно пойти туда, к колодцу. А что, как... Шум воды сильнее и сильнее. Какая там водосточная труба, это уж самый настоящий водопад! Луч фонарика упирается в кирпичную стенку колодца, который, пересекая коридор, тянется сверху вниз. Я осторожно подхожу. И почему-то сначала смотрю вверх. Метра на три надо мной светлеет круг звездного неба, перекрещенный толстыми железными прутьями решетки.

Я направляю фонарик вниз. Сперва я вижу светлое, выбитое водопадом кирпичное дно колодца — там никого. И я уже решаю, что все в порядке. Как вдруг... Тут я чуть сам не упал в колодец от страшной неожиданности. Прямо под ногами у себя я увидел мокрое лицо Будки. Вцепившись расто-



пыренными пальцами в пазы между кирпичами, он едва держался на отвесной стене колодца сантиметров за двадцать от края, где я стоял. Он промок до нитки — водопад задевает его по левому плечу. Я еще не понимаю, что он делает, но мне ясно: еще миг — и он сорвется вниз. И я рывком ложусь прямо в воду, не успевая сказать ни слова, только сунув назад Яве фонарь и пистолет. Обими руками хватаю Будку за плечи. И только тогда хриплю:

— Ява, передай фонарик Вальке и помоги!

Еще мгновение, и Ява шлепается на живот рядом со мной. И уже вдвоем мы держим Будку за плечи. Теперь он не упадет, не сорвется... Но вытащить его вверх вот так, лежа, мы не можем: он слишком тяжелый, а мы не геркулесы. Мы лежим и держим. Вода затекает нам в штанины, льется по всему телу и через ворот рубашки выливается в колодец. Что это такое, поймет лишь тот, кто испытает... Добавлю только, что вода ледяная.

— Мальчики! Ой! Что там? Ой! Ну скажите! — ойкала Валька, подпрыгивая сзади нас. Наши тела мешали ей подойти и самой заглянуть. И она,

наверно, так и пошла бы по нашим телам (вы же знаете девчачье любопытство!), если бы не ухитрилась как-то поставить между нами свои ноги: сперва одну, потом другую, потом снова — уже прямо возле моего носа... И наконец заглянула.

— Ой, Будка! Ой, Будочка! Ой, держись! Да лезь же, лезь! Ну тут же мало осталось. Ну пожалуйста, Будочка... Ну еще немного... — надрывалась она.

Я уже хотел крикнуть ей, чтоб она замолчала (кудахчет, как наседка, тоже мне помощница!), и вдруг почувствовал, что Будка лезет...

Валькины причитания подействовали на него больше, чем наши усилия. А усилия наши были прямо-таки титанические. Я так тянул, что казалось, вот-вот у меня что-то лопнет в груди. Я только тут понял, какие же мы с Явой слабаки. А мы-то себя воображали Власовым и Жаботинским среди васюковских ребят. Ведь мы выжимали кусок рельса, в который звонят на обед в нашем селе, — Ява девять, а я семь раз... А «запорожец» Карафолька еле-еле три раза, а уж Коля Кагарлицкий так и совсем выжать не мог. И когда мы сжимали свои бицепсы, ведь они нам казались тверже, чем тот рельс. А теперь... В голове у меня почему-то все время крутятся слова: «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота...», «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота...», «Ох, нелегкая это работа...» Ну прямо как испорченная пластинка... Вот ведь бывает: прицепится какая-нибудь песня или слова — и крутятся, крутятся, крутятся в голове.

Будка уцепился руками за край колодца. Мы уже не лежим, мы стоим на коленях и тянем, тянем, тянем из последних сил. Валька тоже вцепилась одной рукой в Будкин ворот и тоже тянет. Вот уже Будка уперся руками, вот уже коленями встал на край... У-ух... С дрожью в ногах от усталости я поднимаюсь.

— Идемте, идемте быстрее на воздух... — затараторила Валька. — Вы все такие мокрые! Вы же простудитесь...

— Постой! А ну посвети, посвети... — нагнулся Ява. — Пистолет... Я его где-то здесь бросил... где-то здесь... Вот!

Он поднял мокрый, в грязи пистолет. Будка взглянул:

— Стартовый? Я... с-сразу догадался, — сказал он, лязгая зубами и шмыгая носом.

«Чего же ты тогда так драпанул, что прямо в колодец угодил?» — подумал я. Но промолчал. Неудобно было...

— Идем, идем... Вы же заболаете... Там поговорим, — тянет нас Валька.

Да мы и не собираемся тут задерживаться — мокрая одежда липнет к телу, зуб на зуб не попадает. И вот снова

теплый и такой легкий-легкий воздух охватывает меня со всех сторон.

— Мальчики, выжимайте! Немедленно выжимайте одежду! Я отвернусь... Я не буду на вас смотреть... Вы что, ненормальные?! Немедленно выжимайте! Я уже отошла и отвернулась... Ну!

Ну и упрямая она! И вот мы стоим и выжимаемся. Все остатки сил, что у нас еще были, мы вкладываем в то, чтобы выжать воду из своих брюк и рубашек. Вода журчит на землю. Мы кричим и сопим. А Валька стоит в отдалении спиной к нам и, не оборачиваясь, командует:

— Лучше, лучше выжимайте, не ленитесь...

— «Лучше»... Какая умная!— скриплю я.

— Сама бы попробовала... Когда оно не выжимается,— бурчит Ява.

— Говорить легко...— подает голос Будка.

И то, что мы все трое одинаково голые, и то, что все лягаем зубами и бурчим на Вальку,— все это объединяет нас с Будкой. И я не чувствую почему-то той злости и ненависти к нему, что раньше, хотя он заставил нас пережить это страшное подземное приключение. И с часами еще ведь неизвестно что...

И вот что удивительно: если ты сделаешь человеку что-нибудь хорошее, он тебе становится приятным. И наоборот: тот, кому ты сделал что-то плохое, неприятен тебе.

— Где час-ы-ы?— не столько спросил, сколько пролязгал я зубами, выкручивая штаны.

— Есть, не волнуйся... С-сейч-а-ас получишь...— залязгал в ответ Будка, выжимая рубашку.— А-а, да это такой «чувак»! Б-барахло, а не «чувак»! Смылся... И вообще я про «чувака»... все выдумал. Это Вовка Иванов... Она его знает...

— Как?! А часы?

— Да есть... У него. Они из кармана выпали, когда Вовка тебя с меня стаскивал... Сперва мы хотели сразу отдать, а потом... я придумал вот это самое, с «чуваком», чтоб было интересней... И чтоб вас поугасть...

— Ха!— сказал я (мол, кого хотели испугать?!).

— Мы думали завести вас, а когда вы начнете плакать, вывести. Но мы договаривались все вместе это сделать. А пришли только я и Вовка с младшим братом. Ну и...

— Ты думаешь, так легко ночью уйти из дома!— подала голос Валька.— Я целый час в туалете просидела... пока все обо мне забыли и заснули. И тогда — через черный ход. Тебе хорошо, у тебя дома никого, мать в ночной смене. И Вовка с братом на веранде спят, я знаю...

— А ты... ты как тут очутилась?— спросил я, судорожно натягивая штаны (Ява и Будка были уже одеты). Я знал: раз она начала говорить, сейчас обернется. Где вы видели, чтоб девчонка долго говорила, стоя к вам спиной.

— А мне Юрка Скрипниченко ска... Ой! Я не смотрю, я не смотрю! Юрка Скрипниченко сказал. Я только из студии от Максима Валерьяновича приехала (рассказала ему все, что случилось с часами)... Иду — Юрка Скрипниченко. Говорит: «А мы сегодня ночью твоих дружков в пещере давить будем!» Что?! «Как?»— говорю. «А так»,— говорит. И рассказал... Ух я разозлилась! «Вы все бандиты!»— говорю.— А ты еще и предатель, своих выдаешь...» Он меня за косу... А я его трах по спине...

— Ничего... Мы с ним еще поговорим... А сейчас идем Вовку искать,— сказал Будка.— Он совсем убежать не мог... Он где-то здесь.

И Будка повел нас по кустам, через цепкий чертополох и жгучую крапиву в яр.

Так вот оно что! Напугать нас хотели... Выдумали все — и про «чувака», и про милицию, и про тайник в пещере. А мы поверили! Как дураки. Как малолетки. Тут и слепому было бы видно, что все это брехня. Подземелье. Двенадцатый час ночи... черная маска... Даже в книжках теперь уже так не пишут. Позор! Ну ж... Пусть только отдаст часы! Это все только из-за часов. Если бы не часы или если бы это были мои часы, я б вообще... Пусть только отдаст часы!.. А что мы ему сделаем?.. Налупцуем? Как-то нет настроения...

— А вы молодцы!— вдруг сказал Будка.— Не побоялись. И часы-то ведь не ваши. Могли бы просто плюнуть, и все. С вами в разведку можно идти.

Ну вот видишь! Как же ты его налупцуешь после этих слов! Медом разлились по нашим сердцам эти слова. Похвала, услышанная от врага,— высшая похвала. Постой, а откуда он знает, что это не наши часы? И только я раскрыл рот, чтобы спросить, как из темных кустов, совсем близко, слышался тихий свист. Будка свистнул в ответ. Зашуршали ветки, и из кустов вышел «чувак» — Вовка. Он был все еще в маске.

— Давай сюда часы! Барахольщик!— приказал Будка.

— А ты-то кто? Тоже мне! Подумаешь!— Вовка снял маску. Это был тот самый долговязый хлопец, который двинул меня тогда по ноге.

— Ты давай, давай, а не болтай!— раздраженно повторил Будка.

— На! Очень они мне нужны...— Вовка вытащил из кармана часы.

У меня радостно забилося сердце. Наконец-то! До последней минуты я боялся, что случится что-нибудь и часов я не увижу.

Будка взял у Вовки часы и протянул мне (видно, он собственноручно хотел их отдать):

— Бери.

— Спасибо!— как-то само собой вырвалось у меня.

— Пожалуйста,— испытывая неловкость, буркнул Будка.

Я не положил часы в карман. Я не доверял больше карманам. Я зажал их в руке и решил не выпускать, пока не приду домой и не положу под подушку. Никакая сила не смогла бы теперь отобрать у меня часы.

Мы пошли назад той же дорогой. Снова возле крепостной стены по узенькой деревянной лестнице, почти в полной темноте, лишь едва разбавленной светом двух фонариков (только теперь один из них был Валькин — Будка свой разбил в колодце).

— Откуда ты знаешь, что часы не наши?— наконец спросил я.

— Мы все знаем...— таинственно сказал Будка.

— Да нет, серьезно.

— Да это ее брат,— он кивнул на Вальку,— сказал его брату,— он кивнул на Вовку,— вот и все. Они дружат.

— А-а...

— Слушай, Будка,— сказала вдруг Валька,— а чего ты полез вверх по колодцу? Ты же мог через нижний туннель выйти на склон.

— А!— махнул рукой Будка.

— Что «а»! Серьезно.

— А что, если бы они пошли не в ту сторону? И заблудились бы? Отвечай потом, так ведь? У них же ни фонарика, ничего.

— И пистолета не побоялся?

— А я бы кричал...

Ты смотри! Да этот Будка почти герой — лез нас спасать! Вот тут и разберись в людях. Вроде бы отрицательный тип, и вдруг... Нет, не так оно просто сказать, что человек — отрицательный тип.

— Слушайте,— сказала Валька,— а как же вы доберетесь домой? Трамвай-то уж не ходят.

— А что там добираться!— сказал Будка.— Спустятся к бульвару Дружбы, а там по автостраде — и до Печерского моста. Я их проведу... до клумбы... Чао!

- Чао! — сказал Вовка.
- Пока! — сказала Валька.
- Бывайте! — сказал Ява.
- Спокойной ночи! — сказал я.

Мы разошлись. Валька пошла в свой флигель (через черный ход). Вовка пошел в Лавру (он жил на территории Лавры). А мы с Будкой прошли через одну большую кирпичную арку, через другую, потом спустились по узкой, мощеной булыжником улочке. И все это молча, без единого слова. При Вовке и Вальке Будка был разговорчивым, а как остался с нами, замолк. Видно, он чувствовал себя очень неловко перед нами. Да и нам хотелось поскорей расстаться с ним. Когда мы дошли наконец до автострады, Будка сказал:

— Идите вот так прямо — выйдете как раз к Печерскому мосту!.. Чао! — и помахал нам рукой.

Страх не люблю, когда слово, сказанное тебе, ты не понимаешь. Эх, что б ему такое ответить? Раздумывать было некогда.

— Цоб! — сказал я.

— Цобе! — подхватил Ява.

Мне казалось, что горожанин Будка примет наш «цоб-цобе» за какое-то жаргонное словечко. И действительно, он самым серьезным образом помахал нам рукой и пошел назад. А мы полпелись по автостраде. Но если вы думаете, что на этом наши ночные приключения закончились, вы зря так думаете.

Мы подошли к дому под теткин балкон. Веревка наша была на месте. Дом спал, даже окна, где справляли новоселье, уже не светились.

Ява по своей привычке хотел было лезть первым. Но я решительно оттолкнул его: забыл, что ли? Я же сегодня предводительствую, вот еще! Дурень я, дурень... Если б я знал! Но я ничего не знал.

Я полез вверх. Дали все же себя знать силовые упражнения по вытягиванию Будки. Тяжело было лезть, ох как тяжело! Я и не думал, что так будет. Все мускулы мои ныли и болели. Руки сводило, плечи будто кто ножом резал, ноги все время теряли веревку, и я беспорядочно сучил ими, как распеленатый младенец. Каких-то три метра — и такая пытка! Хорошо хоть, что дом малогабаритный: высота потолков два семьдесят пять. Подлезая к балкону, я уже пыхтел, как насос. Еще, еще немного, и я схвачусь за железные прутья балконных перил. И вдруг надо мной раздался вопль: «Воры!» — и я увидел что-то белое в черном провале окна (то была комната, где спали дядя и тетя).



...Все произошло так молниеносно, что я не успел опомниться. На балконе возникла, как привидение, тетя в белой ночной рубашке. В руках у нее было что-то черное. Она перегнулась через перила и с восклицанием: «Так вот же тебе!» — опрокинула это черное прямо на меня. Что-то шлепнулось мне на голову и полилось в глаза, за уши, за шиворот, в штаны и до самых пяток. Я почувствовал на губах знакомый сладкий вкус и понял: тетя выплеснула на меня из кастрюли свой любимый вишневый компот, что стоял на балконе. Ошеломленный, едва держась за веревку, я отфыркивался и отплевывался, стряхивая с головы вишни.

Но тетя считала, что это еще не всё. Я вовремя заметил, как в руке у нее блеснул нож. И догадался: сейчас она режет по веревке, и я шмякнусь на землю.

— Тетя, не режьте!.. — не своим голосом закричал я.

Нож выпал у нее из рук и больно ударил меня рукояткой по макушке. Я не удержался и съехал по веревке вниз. На земле не устоял на ногах и сел прямо в компот, который лужей растекался как раз подо мной. Только тогда тетя наконец закричала сверху:

— Ой, Павлуша, это ты?

— Нет, не я! — проворчал я, сидя в компоте.

Ява не сдержался и отрывисто хохотнул, как будто его кто-то неожиданно зашекотал под ребрами.

Тетя совсем опомнилась и запричитала:

— О господи, как же ты здесь очутился? Что тебя среди ночи на веревку под балкон потянуло?! И Ваня тут? Вы что, очумели? Что вы тут делаете?..

— Да не кричите, тетя, людей разбудите! — сквозь зубы проговорил я, поднимаясь с земли и брезгливо обирая со штанов раздавленные вишни.

Тетя наконец смекнула, что она не в бальном платье, а в ночной рубашке и не стоит в таком виде знакомиться с новыми соседями. Сказавши нам: «Идите, я сейчас открою», она исчезла.

Поднимаясь по лестнице, мы хорошо представляли, как должны себя чувствовать бойцы, сдающиеся в плен. Больше всего беспокоило то, что же мы сейчас скажем тете, как объясним свое странное поведение. Говорить правду после всего пережитого просто не было сил — уж очень много пришлось бы рассказывать. Но тетя ведь не отстанет, сказать что-то придется.

— Ява, отменим до утра щелчки, прошу тебя, — слабым голосом сказал я. — Утром на все готов...

— Ладно, — сказал Ява.

Времени было в обрез. Нужно что-то выдумать немедленно. Головы наши работали, как счетные машины, — миллион операций в секунду! Но выдумали мы всего лишь примитивную брехню: будто мы поспорили, кто из нас быстрее заберется по веревке на балкон. А почему ночью? Так ведь днем никто не позволил бы.

И когда тетя, уже в халате, открыла нам дверь, мы очень правдиво выложили ей эту выдумку. Тетя была мужественная, решительная — в этом мы только что убедились, — но добрая женщина и очень меня любила (может, потому что своих детей у нее не было). И она поверила. Компот нам в этом даже помог: тетя не заметила, какой мокрой и жалкой была на нас одежда. Мы все свалили на компот. Для этого я посоветовал Яве обляпать компотом свои штаны и рубашку, как будто и на него попало. Хотя его, чертяку, ни одной вишенкой не задело! Вся порция мне досталась.

Тетя чувствовала себя страшно виноватой перед нами и очень извинялась. А потом сказала:

— Такой компот был! На три дня варила. Я же думала, что воры. Жалость-то какая...

И непонятно было, что ей жалко: нас или компот.

— Тетя, вы дяде пока... не говорите, — попросил я, при-

слушиваясь к до-ре-ми-фа-солям в соседней комнате и боясь, как бы дядя не проснулся. Он был вспыльчивый и под горячую руку мог посадить нас на поезд и отправить «к чертовой матери домой».

— Хорошо... А компот? Ну ладно, скажу, что нечаянно опрокинула, когда ночью на балкон выходила свежим воздухом подышать. Только чтоб вы мне больше такие номера не откалывали! Ну, раздевайтесь — и в ванну. А я вашу одежду да посушу да сушить повешу. Ну, быстро!

Мы живо разделись. Я ловко, чтоб тетка не заметила, снял с руки часы — их я надевал перед тем, как лезть, — и положил под подушку.

Вы когда-нибудь мыли посуду? Припоминаете запах? Точно так же запахло, когда мы с Явой залезли в ванну. Словно то не люди мылись, а две кастрюли из-под компота.

И вот мы уже в постели. И уже проваливаемся-проваливаемся в сон. У-ух... Наконец-то кончились наши ночные приключения. Наконец-то... Наконе... Хр... Хр... Хр-у-у-у...

Глава XIV

«ВНИМАНИЕ!.. НАЧАЛИ!.. МОТОР!» ЧАСЫ НАХОДЯТ СВОЕГО ХОЗЯИНА. РОЖДЕНИЕ ЯВЫ СТАНИСЛАВСКОГО И ПАВЛУШИ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Снилась мне какая-то страшная чертовщина. Какое-то мокрое могильное подземелье... Я ползу по нему. Совсем один в полной темноте. Но все вижу: на сводах висят летучие мыши, по стенам сбегает вода, а внизу, под ногами, текут какие-то грязные помои. Внизу вдоль стен сидят отвратительные пучеглазые жабы. И в голове у меня мысль: «Да я, оказывается, умею видеть в темноте. Вот не знал! Оказывается, мне никакого фонарика не нужно... Видеть в темноте — это мне, как дураку с горы сбегать!..» И я ползу, и мне не страшно, а все потому, что я умею видеть в темноте... Вдруг я вижу — ниша в стене... И в этой нише сидит на здоровенном кресле-троне, на каких когда-то цари сидели, наша стосемилетняя бабушка Триндичка. И говорит она мне голосом учительницы Галины Сидоровны:

«Ты чего это часы наши царские до сих пор не отдаешь, поганец?»

Я удивленно смотрю на нее и отвечаю:

«Часы я отдам, не волнуйтесь. Но почему вы ругаетесь на меня? Нам в школе всегда замечания делали за грубость, а сами ругаетесь. Нехорошо».

«Да ты еще и огрызаться, шмаровоз?! Вот сейчас как дам!» — уже голосом моего друга Явы говорит бабушка Триндичка, хватает меня за шиворот и кидает в колодец. И вот я лечу, лечу, лечу... И вдруг чувствую, что кто-то меня держит за плечи. Стойте, да это же я сам. Лежу ничком над краем колодца и держу себя за плечи, себя, который висит в колодце... И то я... И это я... И мне не странно, что нас — двое. «Закон парности!» — думаю я спокойно.

И тут я слышу голос своего дяди:

— А что это за тела лежат? Чьи тела?

Я открываю глаза. И мне кажется, что сон еще продолжается. У тахты стоит дядя. В одной руке он держит стартовый пистолет, в другой... наше письмо, которое мы оставляли вместо пистолета (ой-ой-ой, мы же забыли про письмо!).

— Хватит спать, трупы! Уже одиннадцатый час... Так где были ваши тела сегодня ночью? Признавайтесь, — сурово говорит дядя и читает: — «Ищите наши тела в подземельях Лавры...» Приятное вы мне занятие готовили, что и говорить. Между прочим, это на ваши тела опрокинули кастрюлю с компотом? А? А то я этой женщине, — он кивнул на тетю, — не верю!

Тетя стояла рядом и расстроено смотрела на нас. «Я не виновата, голубчики! — говорил ее взгляд. — Но зачем же вы меня, старую, обманули?»

Мы с Явой переглянулись и глубоко-глубоко вздохнули. А потом я откинул одеяло, сел и сказал Яве, подставляя лоб:

— Бей! Не меньше шести!

Ява тоже сел и говорит:

— И ты мне... Вместе заработали... Поровну...

И мы одновременно вlepили друг другу по шести щелчков. Пока мы это делали, дядя молча переводил взгляд с Явы на меня и с меня на Яву, а потом сказал:

— Я не знаю, что это означает. Меня это мало интересует. Но делаете вы правильно. И я хочу поддержать вас и добавляю каждому от себя. Прошу!

И дядя так залепил по лбу сперва мне, а потом Яве, что мне показалось, будто голова моя треснула, как кавун, на две половины и из обеих посыпались искры. Вы бы видели дядины пальцы — каждый, как сарделька.

— А теперь рассказывайте, — приказал дядя.

— Да подождите... Все из головы вылетело! Так бьют, да

еще и рассказывай...— простонал я, хватаясь руками за голову и будто скрепляя две ее половинки.

Под моей рукой росла на лбу здоровенная гуля. Я глянул на Яву. На его лбу фиолетово наливалась точно такая же. Я смотрел на Яву, как в зеркало: одновременно и чувствовал и видел, как растет моя шишка, хотя то, что я видел, было не мое, а Явино. Позднее я узнал, что у кинематографистов это называется — синхронно.

— Ой, что же ты наделал?!— застонала тетка.— Так ведь детей и поубивать можно!

— Ничего, ничего,— спокойно сказал дядя.— Они хлопцы крепкие, выдержат.

— Да, вам ничего! А как мы теперь в кино сниматься будем?— трагическим голосом сказал я.

— Что? Какое кино? А ну рассказывайте!

— Да вы хоть холодное приложите. Нате вам ложки!— кинулась к буфету тетка.

Мы приложили ко лбам ложки. И вот так, держа их, начали рассказывать. Все. Честно. Исповедь наша, как пишут в газетах, неоднократно прерывалась рукоплесканиями и разными возгласами, так как тетка только и делала, что всплескивала руками и восклицала: «Ох господи!», «Ну ты смотри...», «Ай-яй-яй!»

Рассказали мы самое главное — про часы и показали их («О господи!»). Рассказали про Вальку и про Будку, про наши бои и ночные приключения («Ай-яй-яй!»). Рассказали про Максима Валерьяновича, про киностудию («Ну ты смотри...»).

Кончили тем, что вот-вот приедет за нами ассистент... Что теперь будет?

— Ну, ребята, я же не знал...— сказал дядя.— Я же не знал, что вы — артисты... Ведь ваших фотографий на улицах еще не продают... Нескладно получилось. Неудобно высвечивать синяками на весь Советский Союз... Вам нужно было не обманывать, а сразу честно признаться... Что ж мы теперь ассистенту скажем?

И тут — буквально как в пьесе, — только дядя сказал эту реплику, в дверь постучали. Тетка побежала открывать, а мы с Явой в бешеном темпе (вот, знаете, как в кино ускоренная съемка) начали одеваться. Ассистент вошел как раз в тот момент, когда мы, надев уже штаны, одновременно сунули головы в рубашки (таким образом ни ассистент наших лиц, ни мы ассистента не видели).

— Здравствуйте, здравствуйте, а я за вашими героями, — весело сказал ассистент. — Ребята вам, наверно, уже говорили.

— А как же,— как-то виновато сказал дядя.— Только они сегодня, к сожалению, немного... так сказать... не фотогеничны.

В этот момент мы просунули головы в рубашки, и ассистент увидел наши гули.

— Гм,— сказал он.— Привет, молодцы... Что ж это вы... А впрочем...— Он отошел, прищурился, посмотрел на нас как-то сбоку.— По-моему, ничего. Может, даже еще лучше будет... для типажа... для образа. Едем!

— Да пусть хоть позавтракают,— засуетилась тетя и побежала на кухню.

— А вы еще не завтракали?— удивился ассистент.— Уже ведь обед скоро.

— Мы не хотим! Не хотим!— отчаянно закричали мы с Явой, как будто нас резали. Чего доброго, ассистент передумает, пока мы будем завтракать!..

— Ой, тетя, не нужно ничего!— кинулся я в кухню и зашептал ей на ухо:— Я вам никогда не прощу! Никогда не прощу, если из-за вашего завтрака...

— Ну хоть возьмите с собой по бутербродику,— плаксиво сказала тетя.

— Давайте, только быстрее, а то он уйдет,— прошипел я.

Тетка забегала, закрутилась по маленькой кухне, как наседка. Разлила постное масло, разбила тарелку, но все же упаковала нам, наконец, два «бутербродика», которые весили, должно быть, килограмма полтора. Мы не стали спорить, чтоб не терять времени.

— Сейчас заедем к Максиму Валерьяновичу— и на студию,— сказал ассистент, подводя нас к «газику», который стоял у дома.

...Когда мы подъезжали к Лавре, я подумал про Вальку. Нужно было бы взять ее на студию... Она столько для нас сделала! Почему ей нельзя?.. Пусть стоит где-нибудь там, сзади. Раз есть в фильме мальчишки нашего возраста, может быть и девчонка... Тем более такая девчонка! Которая могла одна пойти против целой оравы... Которая не побоялась ночью спуститься в подземелье... Которая вообще ни черта не боится!

— Слушайте,— сказал я ассистенту,— а можно, чтоб с нами одна тут девчонка поехала?

— Девчонка?— усмехнулся ассистент.— А хорошая?

— Во какая!— поднял вверх большой палец Ява.— Просто хлопец, а не девчонка... Вы ее, должно быть, видели. Она вчера была с нами на студии.

— Правда, велено мальчишек, а впрочем...

— А ее можно загримировать под мальчишку. Никто и не заметит, честное слово!— с жаром сказал Ява.

— Ну что ж... Катайте за своей девчонкой. А я пока заберу Максима Валерьяновича. Ждите меня тут, возле таксомоторного парка.

Мы вылезли из «газика», и ассистент поехал.

У Валькиного подъезда Ява остановился, потоптался на месте, потом потрогал свою шишку и сказал:

— Может, кто-то один ее крикнет... Чего обоим бить ноги?

Вот крокодил! Он стыдится своего вида! Все равно же она заметит — рано или поздно!

И я сказал:

— Как хочешь, можешь идти один ты. Я не против. Она же больше твоя подруга, чем моя.

— Да нет уж, идем вместе... Просто я думал...

Что бы он там ни думал, а пошли мы все-таки вдвоем. Пошли, прикрывая ладонями свои лбы. Далеко идти нам не пришлось. Мы сразу встретили Вальку. Прямо у подъезда.

— О, здрасте!— радостно воскликнула она.— Ну, как у вас? Все хорошо? Дома не влетело? Чего это вы за головы держите?

— Здорово, здорово!— увернулись мы от ответа.— Мы за тобой... Едем на студию... Ассистент сказал...

— Неужели? Едем! А, да это у вас шишки на лбу!

Углядела-таки! Больше скрывать не было смысла. Мы опустили руки.

— А я знаю, а я знаю, отчего это!— простодушно сказала Валька.— Это вы, наверное, опять щелчки друг дружке давали... Точно?

Мы молча кивнули. И тут увидели Будку. Он шел по двору хмурый и насупленный и не замечал нас.

— Ой, а вы знаете,— зашептала Валька,— Будке так попало, так попало... Мать вернулась с работы раньше, чем обычно. Он пришел, а она дома. А вы же видели, какой у него был костюм... Такое было!.. Мне его жалко... И вообще он не такой уж плохой. Во всяком случае, не слабак, как некоторые... Хотя бы этот самый Юрка Скрипниченко...

Мы с Явой переглянулись. И, по-моему, одновременно подумали об одном и том же. Нужно взять его на киностудию!..

Ведь нам режиссер прямо сказал, чтоб мы прихватили одного-двух хороших хлопцев. И мы возьмем Будку. А что? Пусть сыграет в кино. Пусть прославится наш вчерашний враг, который завел нас в подземелье и думал напугать до смерти... Пусть! Нам хотелось быть сегодня добрыми и великодушными.

Будка не сразу понял, чего мы от него хотим.

— Га? Что?— повторял он, хлопая глазами.

— Да на киностудию... В кино сниматься... Не хочешь?— толковывали мы ему.— Ты что, спятил? От такого отказываться...

Словом, когда ассистент, как договорились, подъехал к таксомоторному парку, нас было четверо.

Ассистент был человек наблюдательный. Заметив, кроме Вальки, еще и Будку, он сказал:

— Ясно... Значит, в пропуске нужно поставить цифру четыре? Я не ошибся?

— Ага,— улыбнулся Ява.

Максим Валерьянович, который сидел в машине, встретил нас, как всегда, шутливо:

— Привет, господа хорошие! Ничего не спрашиваю. Вижу: все в порядке... Были серьезные бои, но победа на нашей стороне... Так?

Я молча кивнул и отвернул рукав левой руки, на которой были часы.

— Вот и хорошо... Вот и хорошо.— Максим Валерьянович как-то загадочно усмехнулся.

— А что, не нашли еще того... царя?— спросил я.

— Посмотрим, посмотрим...— И он снова усмехнулся.

Мне показалось, что он что-то знает, но почему-то не хочет сказать. И одновременно я чувствовал: то, что он знает, добрая весть.

— Ну скажите, ну пожалуйста...— нетерпеливо попросил я.

— Терпение, господа, терпение! Все выяснится на студии... Кино, дорогие товарищи, самое удивительное чудо двадцатого века...

Все эти загадочные слова еще больше распаляли. Меня взяло такое нетерпение, что я не мог усидеть на месте: все время крутился и заглядывал в окно — когда ж эта студия...

И вот снова низкие ворота. Снова щиты с крылатыми словами. Снова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»

«Вот ты еще, ей-богу! Никогда, наверно, не быть мне человеком»,— подумал я, трогая свою гулю.

Мы подъехали к тем самым дверям, что крутятся, и вылезли из машины.

— Придется нам сейчас разлучиться, господа,— сказал Максим Валерьянович.— Мне в павильон, а вам на озеро... Мы в разных картинах... Запомните этот день, воробы. Может, для кого-то из вас он будет историческим и знамена-

тельным на всю жизнь. Как знать, может, кто-то из вас станет в будущем настоящим артистом. И будет вспоминать этот день, как творческое крещение. Ну, ни пуха ни пера. У меня эпизод маленький, как освобожусь, приду на вас посмотреть.

И Максим Валерьянович пошел к дверям, а мы направились по асфальтовой дороге. Мы чувствовали какую-то торжественность, как будто он только что посвятил нас в артисты. Пройдя немного, мы увидели слева белый бюст крутолобого мужественного человека. Нам показалось, что этот человек с крыльями и похож на какую-то гордую белую птицу. То был Александр Довженко, писатель и режиссер, чье имя носит Киевская киностудия. Мы смотрели его фильмы «Земля», «Сумка дипкурьера», «Щорс» (их показывали позапрошлый год в нашем клубе). Вот эти фильмы! Особенно «Щорс». Люблю такие фильмы — про героев. И «Поэму о море» мы видели, и «Повесть пламенных лет»... А «Зачарованную Десну» — и книжку читали, и кино видели. Очень интересная там прабабушка, которая ругается. Так даже наш Бурмила не умеет. Словом, Довженко мы знали очень хорошо.

И то, что сразу после «благословения» Максима Валерьяновича мы прошли мимо Довженко, придало словам старого артиста какой-то особенный вес и значительность и настроило нас еще более торжественно.

Асфальтовая дорога сворачивала влево, к большому серому зданию, а мы пошли прямо по тропке мимо каких-то длинных сараев. Возле них в беспорядке стояли возы, тачанки, сани, как на колхозном дворе. Причем некоторые старые-престарые — будто из музея взятые, а другие новенькие — только что сделаны. И совсем крепкие были, и полуманные. Стали попадаться остатки каких-то декораций: там часть стены с двумя колоннами и окном (наверно, от помещичьего дома); там поломанная лесенка с перилами — все, что осталось от какого-то капитанского мостика; а вон пушка стоит, низенькая, на колесах, со спицами, как у телеги, — прапрабабушка современной артиллерии. А в одном месте прямо кучей навалены какие-то обломки размалеванной фанеры, куски картона, черепки.

Неожиданно из-за кустов блеснула вода. Озеро. Мы подошли к нему. Обычное небольшое озеро. Настоящая мокрая вода, настоящие живые лилии, настоящая осока, настоящие ивы склонились над водой; и шаткий мостик-кладка, перекинутый с берега на берег, — тоже настоящий. И все-таки нет, не обычное озеро! Кинематографическое. Посередине плавал

небольшой дощатый плот на железных бочках-понтах, и на том плоту растопырилась трехногая киносьемочная камера, около которой возятся двое в спецовках. Тут же, рядом с кинокамерой, торчит на железной подставке головастый прожектор. А на том берегу стоят люди в таких же спецовках и держат большие деревянные щиты, обклеенные серебряной бумагой, той самой, в которую дорогие конфеты заворачивают. И этими щитами пускают здоровенных солнечных зайцев на мостик, где стоит дореволюционный царский жандарм в мундире, с саблей. Рядом с ним — мужчина в косоворотке. Оба курят и о чем-то мирно разговаривают.

На этом берегу — грузовик-фургон, похожий на те, что хлеб развозят, приглушенно ворчит, как собака, которая собирается гавкнуть. И не в моторе ворчит, а в самом фургоне. Как мы потом узнали, это был так называемый «тонваген», который записывает звук. А в траве извивались, переплетаясь друг с другом, как змеи, толстые резиновые кабели. Ух сколько этих кабелей! Одни к тонвагену тянутся, другие ныряют в озеро, прямо в воду, и у самого плота выныривают, чтоб в кинокамеру и в прожектор вползти... А еще по земле раскиданы обитые железом ящики, стоят лавки, стол какой-то. И посреди всего этого люди суетятся, кричат, ругаются. Среди них заметил я женщину в белом больничном халате. «Ну вот... Значит, и вправду небезопасное дело — киносьемка. Недаром у них в вестибюле аптекой пахнет... а тут врач...» — где-то в глубине сознания шевельнулась у меня мысль. Но дальше подумать я не успел... Уже знакомый нам лысый Женя (Евгений Михайлович), в охотничьих высоких сапогах, таких высоких, что выше некуда, топтавшийся возле кладки, вдруг увидел нас и закричал:

— Что ж вы запаздываете? Срываете мне съемку!..

И, взбаламутя воду, заспешил на берег.

— Привет, старики!

Шлепая сапогами, он подошел к нам. Подошел, склонился, пристально вглядываясь в наши лица, потом выпрямился и сурово глянул на ассистента:

— Что это за инвалиды? Я их не знаю...

У меня замерло сердце.

— Что это такое, я спрашиваю! — уже на нас строго смотрел он. — Что вы все — с ума посходили?! Как сговорились! Тот заболел, а эти... Что это за гули? Разве я просил вас подготавливать на сегодня шишки на лбу? Я шишки не заказывал!.. Такой был типаж... Я-то радовался! Испортили все дело!..

И вдруг — как будто только что и не он кричал, — тихо и дружелюбно проговорил, подморгнув нам:

— Ша, хлопцы, все в порядке... Гули, конечно, не нужны, но у нас есть для этого Людмила Васильевна... Людмила Васильевна! — позвал он женщину в белом халате. (Та тут же подбежала.) — Людмила Васильевна, зашпаклюйте им, пожалуйста, эти... штуки. И вообще сделайте им лица.

Людмила Васильевна открыла свой чемоданчик. В нем были какие-то щеточки, кисточки, тюбики, баночки, краски, какая-то замазка, похожая на пластилин... Словом, разные причиндалы для гримирования.

«Тю,— мелькнуло у меня в голове,— я-то думал, что это врач на всякий несчастный случай, а это гример, вроде парикмахера...»

Людмила Васильевна сперва взялась за Яву, он был ближе к ней. Раз, раз, раз!.. Чем-то подмазала, подкрасила, припудрила — и шишку как корова языком слизала. Потом Людмила Васильевна взялась за меня. Было как-то непривычно и щекотно чувствовать нежные прикосновения гримера, который что-то тебе на лице мазал, растирал, да еще и пудрил (а я-то думал, что только женщины пудрятся!). Никогда ведь в жизни нас не гримировали. Это вот впервые... А когда Людмила Васильевна начала нам брови и глаза подводить, а потом еще и губы помадой губной мазнула, я не выдержал и захохотал. Вот если б мы так по селу прошли... «Тю! Тю!» — закричали бы со всех сторон, а может, и чем-нибудь нехорошим начали бы кидаться.

Будка с Валькой стояли в стороне унылые, как собаки под дождем. Они уже решили, что их не берут, что про них забыли, что они тут никому не нужны...

Скверное чувство!

Режиссер, прищурившись, наблюдал за работой Людмилы Васильевны, заходил то с той, то с другой стороны, разглядывая нас, как цыган коней на ярмарке.

Наконец сказал:

— Ну, порядок! А теперь вот этих... — и повернулся к Вальке с Будкой.

Те сразу засияли... Если б у них были хвосты, они б, наверно, завияли хвостами.

Будка стоял во время гримировки подчеркнуто серьезно, насунив брови и поджав губы. Валька кокетничала, поглядывая украдкой в зеркало, вправленное в крышку чемоданчика. Но красивую кинозвезду из Вальки не сделали. Наоборот: по указанию режиссера Валькину современную прическу «конский хвост» ликвидировали, а волосы беспорядочно взъерошили, и она сразу стала похожа на беспризорницу. Потом всех нас измазали сажей...

«Должно быть, босяков каких-нибудь будем играть», — подумал я.

— Где Клава? Где костюмы для детей? Что такое? — закричал вдруг режиссер.

— В костюмерную побежала... за платьем для девочки, — сказал кто-то.

— Не могли раньше?

— Так не знала же, что девочка будет...

— Нужно было знать... Как же так — мальчики, да чтоб не было девочек... Все вам объяснять нужно!

Валька даже засмушалась — столько шуму из-за нее.

— Я тут! Я тут! — подбегая, закричала стройная, ярко накрашенная девушка (вот это настоящая кинозвезда!). В руках она держала какую-то рвань.

— Идемте, ребята! — весело позвала она.

За тонвагеном на лавке висела наша киноодежда. Не одежда, а какое-то отрепье — в руках разлазилось, латка на латке. Я б такого сроду не надел. Но для искусства... Валька с Клавой отошли за угол тонвагена, и мы начали переодеваться... то есть перевоплощаться... А когда оделись, уже не могли удержаться и, хватаясь за животы и тыча друг на друга пальцами, стали помирять со смеху:

— Ты смотри, ты смотри на него — вот пугало-то!

— А ты, а ты! На себя посмотри! Как из тюрьмы сбежал!

— Ой, не могу! Ой, не могу! В таком дранье, и губы накрашены...

Из-за угла тонвагена вышла Валька. Она была в грязном, изорванном платье, которое едва держалось у нее на плечах. Мы разом вытянулись и склонились в поклоне:

— Здравствуйте, ваше благородие...

Валька взялась пальчиками за край своей «одежды» и присела, как балерины на сцене приседают. Мы захохотали все четверо.

— Хватит, хватит вам! За работу! — послышался крик режиссера.

Когда мы вышли из-за тонвагена, он повел нас по берегу озера к деревянному столу с двумя лавками, который, как это бывает в селе, стоял вкопанный в землю под развесистым деревом. Посадил на лавки, сел сам и начал:

— Значит так, старики! Картина, которую мы снимаем, рассказывает о революционных событиях на Украине в 1905 году... Вы приглашены принять участие в одном из эпизодов... Содержание эпизода такое. На мостике, над речкой, рабочего-революционера Артема догоняет жандарм, чтобы задержать. Артем бьет жандарма, жандарм летит в во-

ду... Артем бежит... Вы — в лодке, недалеко от мостика. Рыбачите. Вы видите эту сцену, ужасно радуетесь, аж подпрыгиваете. И всё... Только радость должна быть на полную катушку. Для этого вы себе представьте, например, что вы не только вообще не любите жандармов (вы ведь дети рабочих), а что именно этот жандарм — ваш главный враг, что он вас всегда гоняет, и так далее. А ну, прорепетируем! Значит, я жандарм. Бегу за Артемом, хватаю его за руки. Артем вырывается, бьет меня в грудь. Я падаю — плюх! Ну!..

— Га-га! Га-ля-ля! И-и-и! Го-о-о! — вскидываемся мы, размахивая руками, прыгая и горланя во все горло.

— Стоп! — поднимает руки режиссер. — Не то. Это уж слишком. Базар. Так никто из нормальных людей не радуется. Это из репертуара сумасшедших. Так вы только сами попадаете в воду, вот и все. Нужно, чтоб было естественно, убедительно.

Вот тебе и раз! Сам же велел «на полную катушку», и вдруг... слишком! Посмотрел бы он, что творится у нас в классе, когда вбегает Степа Карафолька с криком, что математичка захворала и урока не будет. Вот это катушка! Вот это радость!.. А это...

— А ну еще раз попробуем. Только серьезно, по-настоящему. Жандарм падает... Плюх! Ну!

— А!.. О!.. И!.. — слабо улыбаясь, мы, едва улыбаясь.

— Стоп! — снова поднимает руки режиссер. — Вы меня, старики, не так поняли. Это уже крайность. Так радуются только на похоронах. Неужели вы не можете нормально, по-настоящему, убедительно радоваться? Это же ваш враг! Самый заклятый! И его кидают в воду. Ведь как радостно видеть такое! Он же так измывался над вами! Стойте! Это же он вам вчера гули понабивал... Ну да, он! Что, вы забыли разве?.. Вчера вы читали прокламацию, наклеенную на заборе, а он стал разгонять вас, двинул раз-другой — вот вам и гули... Гад проклятый! Погань! Как я его ненавижу! — Режиссер говорил так, как будто это было на самом деле.

Слушая его, я на какое-то время поверил, что это не дядя, а и вправду жандарм набил мне шишку.

— И вот этот катюга бежит по мостику, нагоняя Артема. А это же ваш хороший друг — Артем! — возбужденно продолжал режиссер. — Схватил Артема за руки... Артем разворачивается. Р-раз — жандарма. Тот — плюх в воду! Ну!

— Го!.. Ха! Ха!.. Иги! Ой!.. — вскинулись мы все разом в искреннем порыве.

— Во-во! Годится! Молодцы! Спасибо. Чтобы так было во время съемки. Договорились?.. Людмила Васильевна!

Людмила Васильевна! (И снова подбежала женщина в халате с чемоданчиком.) Подновите им, пожалуйста, их гули. Да подрисуйте хорошенько, чтоб было видно. Придется в эпизоде на явочной квартире дать реплику про эти гули...

Пока Людмила Васильевна возилась с нами, Валька шепнула мне на ухо:

— Гордитесь! Ваши гули войдут в историю кино. Они помогают создать художественный образ.

— Кончай!— сказал я небрежно, но только для виду, чтобы скрыть гордую радость: а что ж, из-за нас даже реплику какую-то новую в фильме дают!

— Идемте, идемте! Будем начинать съемку!— сказал режиссер.

Он подвел нас к лодке.

— Грести умеете?

— А как же!— воскликнул Ява.— Мы ведь в плавнях выросли!

— Прекрасно! Значит, так. Девочка садится на носу. Ты,— показал он на Будку,— вот здесь... Ты,— взял меня за плечо,— с веслом вот тут... А ты,— обернулся к Яве,— с рулем на корме... На корме и на носу, как видите, веревки с камнями. Бросите их вместо якорей там, где скажут. И следите, чтобы лодку не снесло. И еще одно: ни в коем случае не смотрите в аппарат! Только на жандарма. А то испортите кадр.

Мы сели в лодку, Ява оттолкнулся веслом. Я гребнул раз, еще раз, стараясь это делать как можно красивее и ловчее,— пусть видят, как я умею!.. Но третий раз уже гребнуть не успел.

— Стоп!— скомандовал оператор, который по ту сторону мостика нацелился на нас с плота кинокамерой. От неожиданности я дернулся, чиркнул веслом по воде, задерживая его, и обрызгал Будку и Яву. Вот тебе и показал, как умею!

— Назад!— закричал оператор.— И немножко левее... А теперь правее... Вперед чуть-чуть... Нет-нет, это много... Назад... Влево теперь... Еще немного... Хватит, хватит. Немного правее...

Минут пять, не меньше, мы вот так маневрировали под командой придирчивого оператора, пока он не крикнул:

— Сто-оп! Бросайте якоря! И сидите тихо, чтобы не сдвинуть лодку...

Ява на корме, а Валька на носу сбросили в воду камни, и лодка стала. Мы замерли, дожидаясь съемки.

— Внимание, внимание! Приготовиться! Начинаем...— послышался неожиданно зычный голос режиссера. Он уже,

оказывается, стоял рядом с оператором на плоту, приставив ко рту блестящий металлический рупор. Как он очутился на плоту, мы так и не заметили — будто пришел прямо по воде, как Христос.

Жандарм и Артем побросали папироски. С берега по мостику подбежал к ним молодой человек в берете. В руках у него дощечка, сверху выкрашена полосато, как шлагбаум, а внизу черная, как классная доска, и на ней мелом написано:

«А Р Т Е М»
297-1

— Внимание!.. Начали!.. Мотор!— крикнул режиссер.

Парень растопырил свой «шлагбаум» из дощечек, поднес к самому носу жандарма — щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль первый...— крикнул молодой человек, дощечки под мышку и, пригнувшись, скорее на берег.

А жандарм с Артемом уже сцепились. Возьются на мостике. Вот Артем резко вырвал руки, размахнулся... Бац жандарма в грудь. Жандарм — шлеп! Бултых! Ого-го! Брызги взлетели аж до неба, не то что от моего весла! Мгновение — и уже из воды торчат только сапоги жандарма. А Артема и след простыл. Забурлила вода... Глядь — вынырнула голова жандарма. Без фуражки, волосами глаза залепило, из носа течет, отовсюду течет, усы как у моржа, изо рта вода фонтаном, на полтора метра. Ух ты! Здорово играет!

— Да радуйтесь же, радуйтесь!— послышался сразу с плота отчаянный крик режиссера.

Мы вздрогнули, переглянулись растерянно, привстали... У меня не было зеркала, и я не видел своего лица, но у Вальки, у Явы и у Будки лица были, прямо говоря, глуповатые. Глаза вытаращены, рты разинуты, искривлены. Это была, конечно, не радость. Это было бог знает что.

— Стоп!— закричал режиссер. Где-то что-то щелкнуло. Ворчание тонвагена стихло.— Вы что, заснули? Кто за вас играть будет? Я? Вы ж в одном кадре с жандармом. Жандарм падает... Наплыв трансфокатора — вы радуетесь... Я же предупреждал. Испортили мне первый дубль. И жандарму нужно переодеваться. Видите, что натворили.

Мы сидели как побитые. Мы так увлеклись игрой жандарма, что пропустили момент, когда нам нужно было радоваться. Ну что вы хотите! Это же все-таки наша первая в жизни съемка! Что ж мы вам сразу станем как Аркадий Райкин?!

Жандарм вылез из воды, погрозил нам кулаком, но без

злости, усмехаясь. Еще и подморгнул. И пошел за тонваген переодеваться.

— Подвели мы их! Давайте хоть сейчас хорошо обрадуемся,— зашептал с кормы Ява.

— Ага!

— Ну да!

— Конечно,— поддакнули мы все трое.

Пока жандарм переодевался, я накапливал в себе радость. Сидел и вспоминал все самое лучшее, что было в моей жизни: и как мне новые футбольные бутсы купили, и как я на баштане самый большой кавун стащил, и как мой враг отличник Карафолька двойку по физкультуре схватил... Я поймал на себе Явин взгляд. Он смотрел на меня с ехидной улыбкой. Я догадываюсь, что он вспоминает! Он вспоминает, наверно, как я нырял при всех с дерева, зацепился грусами за сучок, разодрал их и летел в воду голый... Ну ладно, пускай вспоминает, мне для искусства не жалко! Лишь бы только съемку не срывал!

— У, гад, жандарм Европы, так тебе и нужно!.. Хи-хи-хи!— это шепчет про себя рядом со мной Будка — настраивает себя, готовится.

Мне не видно и не слышно, как готовится Валька, но я уверен, что она тоже готовится. Ух мы сейчас дадим! Ух мы сейчас обрадуемся!

Из-за тонвагена вышел жандарм в новом сухеньком мундире — будто и не падал в воду.

И вот снова они стоят с Артемом на мостике.

— Внимание!.. Начинаем... Мотор!— кричит режиссер.

И снова подбегает парень в берете, щелкает своим «шлагбаумом» и выкрикивает:

— «Артемом»... Двести девяносто седьмой... Дубль второй...

Ворчит тонваген. Борются жандарм с Артемом. Бац!.. Шлеп!.. Бултых!.. Жандарм в воде...

Мы вскакиваем.

— Стоп!— кричит режиссер.

Тю-у-у... Пропал такой заряд.

Оказывается, Артем, убегая, поскользнулся и упал. Он был еще в кадре. А Артем — герой и не должен падать. Герои не падают. В кино падают только отрицательные персонажи.

Виноватый Артем бормотал:

— Конечно... Накидали тут каких-то арбузных корок... И канатоходец поскользнется...

Режиссер хмурится и молчит. Главных героев фильма режиссеры не ругают. Режиссеры ругают только статистов.

Жандарм вылезает из воды, грозит кулаком Артему, но уже не усмехается и не подмаргивает. Идет за тонваген переодеваться.

И вот снова:

— Внимание!.. Начинаем... Мотор!

Щелк!—«шлагбаум».

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль третий...

...Бац! Шлеп! Бултых!

— Ура! Га-га-га! Го-го-го!— как скаженные, по-настоящему радуемся мы, радуемся не столько «по роли», сколько потому, что наконец-то нас снимают. Видим, режиссер улыбается, кивает нам, довольный. Ну, все!

— Стоп!— кричит вдруг оператор.— Не годится! Ветка закрывает девочку...

Вот еще!.. Мы враждебно смотрим на Вальку, как будто она виновата, что ее закрывает какая-то ветка.

— Срубить ветку!.. Немедленно. Что за свинство! Не могут подготовить съемку! Срываете мне работу! Черт те что делается на этой студии!— кричит режиссер неизвестно на кого.

Мы сидим, гордо поглядывая вокруг. Мы не виноваты. Мы хорошо сыграли. Режиссер нам кивал и улыбался. И правда свинство, что этот дубль испорчен. Выходит, даром мы радовались.

Жандарм вылезает из воды, ни на кого кулаком не грозит, но про себя что-то бормочет — видно, ругается... Что ж, мы его понимаем. Падать в воду не легче, чем радоваться.

— Внимание!.. Начали... Мотор!..

«Шлагбаум».

Щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль четвертый...

Бац! Шлеп! Бултых!

— Га-га-га! Урра! Го-го-го!.. И-и-и!..

— Стоп! Еще раз! Жандарм недостаточно выразительный.

Будешь тут выразительным — четвертый раз в воду шлепаться!..

— Внимание!.. Начали... Мотор!..

«Шлагбаум».

Щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль пятый...

Бац! Шлеп! Бултых!

— Стоп!

У жандарма отклеился один ус... А что же вы хотите! Таких испытаний настоящие усы не выдержат, не то что приклеенные.

Идет за тонваген мокрый жандарм. Выходит из-за тонвагена сухой жандарм.

— Внимание!.. Начали... Мотор!..

«Шлагбаум».

Щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль шестой...

Бац! Шлеп! Бултых!

— Га-га!.. Го-го! Ох-ох-о!.. Хи-хи!..— стараемся мы.

— Стоп! Молодцы! Наконец-то. Кажется, теперь все! Порядок! — довольно говорит режиссер. (Мы расплываемся в радостной улыбке.) И вдруг он застывает, вытаращив глаза: — Что это?! На руке?!

Я не понимаю, что это ко мне относится, и какое-то время еще радостно улыбаюсь. Будка толкает меня в бок. Я смотрю на свою руку и все понимаю...

— Ча-сы...— бормочу я.

— Что-о?! Убийца! Где ты видел, чтоб дети бедняков до революции носили часы! Ну! Зарубил мне все дубли. Ну! — каким-то плаксивым голосом кричал режиссер, потом поднес к губам рупор и уже обычным своим голосом закричал: — Все остаются на местах! Пересъемка! Пересъемка! — А потом плаксиво мне: — Снимай немедленно часы и отдай на берег! Немедленно!



У меня сразу онемело внутри, я опустил голову и сказал:

— Не отдам!

— А?! Что?!— не поверил своим ушам режиссер.

— Не отдам... Это не мои часы... Они уже раз пропадали.

А я их сегодня хозяину отдать должен.

— Так что же, ты мне всю съемку испортить хочешь?!

— Если так, я лучше сниматься не буду. Я на берег пойду.

Мокрый жандарм, что стоял по пояс в воде недалеко от нас и слышал весь разговор, сказал:

— Ну давай уж мне эти несчастные часы...

— Ого... Какие быстрые!— говорю я и прячу руку с часами за спину, как будто жандарм хочет их силой отнять.

— Не доверяешь?— усмехается жандарм.

Я молчу.

И вдруг жандарм тихо так, тихо говорит:

— А я тебе на пляже доверил... Не побоялся...

Будто меня палкой по спине трахнули — рванулся я и рот разинул.

— Что-о?

— Не узнаешь?— улыбается жандарм.

Я вглядываюсь, вглядываюсь, вглядываюсь... Нет, не может быть. Не похож ведь совсем. Обернулся я к Яве — он только плечами пожимает: тоже не узнает.

Смотрит жандарм вокруг, кого-то глазами разыскивая, остановился взглядом на Людмиле Васильевне в белом халате, кулаком ей погрозил — его излюбленный жест — и крикнул:

— У-у... Размалевала меня так, что хлопцы собственных часов возвратить не хотят.

Видю — все кругом смеются: и Людмила Васильевна, и режиссер, и оператор, и все-все, кто на озере. И Валька, вижу, смеется, и Будка, и Ява уже рот растягивает. Значит, это он!.. Он, наш незнакомец из тринадцатой квартиры! Ну, я и сам начал улыбаться, а потом и говорю:

— А почему же вы такой... Сказали: «царь, царь...» — а на самом деле обыкновенный жандарм. А мы, дураки, по всему Киеву царя искали.

Еще пуще засмеялись все.

— Все правильно, — сказал жандарм-незнакомец. — Что касается царя — никакой с вашей стороны ошибки нет. Царя я таки играю. В этом же самом фильме. И царя, и жандарма — две роли. Это вот Евгений Михайлович так задумал. А вообще извините, дорогие, что я вам столько хлопот задал своими часами. Поверьте, совсем не хотел... Очень я тогда

спешил... На репетицию. Мне Максим Валерьянович рассказал про ваши переживания... Что же вы не догадались зайти в милицию пляжа? Я же туда специально забежал — предупредил и адрес свой оставил...

— Ну хватит, хватит...— улыбаясь, перебил его режиссер.— Потом побеседуете. У вас-то хорошо кончилось, а вот у меня... Бегите переодевайтесь. Пересъемка! И все из-за ваших часов.

— Боюсь, что ничего с переодеванием не выйдет,— вздохнув, сказал царь-жандарм.— Это был последний сухой мундир.— И он двумя пальцами взял себя за край галифе, с которых стекала вода.

— Как?! Клава! Клава! Где сухие мундиры для жандармов? Чтоб сейчас же мне были сухие мундиры! Жду! Немедленно! Вы срываете мне съемку!

— Евгений Михайлович! В костюмерной было шесть мундиров. Все шесть подмочены.— Клава засмеялась.— Больше взять негде. Нужно ждать, пока высохнут.

— Что ждать? Что ждать? Солнце не будет ждать. Солнце вон уже садится!— кричал режиссер, хотя солнце еще и не думало садиться.

— Евгений Михайлович,— спокойно сказал оператор,— я думаю, переснимать нет необходимости... Я уверен, что часов в кадре не было. Я бы их заметил... Вот проявим пленку, и вы убедитесь...

— А если были?

— Тогда переснимем.

Оператору все-таки посчастливилось уговорить режиссера, и тот объявил перерыв на обед.

— После перерыва снимаем эпизод «Встреча Артема с Марией».

— Вы, друзья, не убегайте,— сказал нам царь-жандарм.— Я сейчас переоденусь и выйду. Я сегодня больше не снимаюсь. Марию играю не я... Так что не убегайте... Сегодняшний день нам нужно отметить. Максим Валерьянович, вы подождите меня у проходной. Хорошо?

Максим Валерьянович, который уже давно, с третьего дубля, сидел на стуле около тонвагена, закивал, улыбаясь.

Мы пошли переодеваться. А потом подошел ассистент, тот самый, который приезжал за нами, и вручил нам всем по три рубля. Оказывается, статистам, которые принимают участие в съемке, платят в день по трешке. Вот это здорово! Мало того, что ты в кино снимаешься, славу добываешь, тебе еще и платят за это!

Прощаясь с нами, Евгений Михайлович сказал:

— Спасибо вам, дорогие друзья! За помощь. Молодцы! Создали очень убедительные образы революционно настроенных детей бедняков периода 1905 года. Если придется переснимать, мы вас вызовем. До свидания!

И он каждому из нас пожал руку. Эти рукопожатия плюс трешки произвели на нас очень хорошее впечатление. Настроение у нас было блестящее. По-моему, с такого настроения начинается счастье.

У памятника Пушкину Олег Иванович—так звали нашего незнакомца из тринадцатой квартиры—взял такси, и мы поехали. Поехали туда, куда не только «до шестнадцати не...», а, наверное, и «до восемнадцати не...»—мы поехали в ресторан. В тот самый, что стоит на горе над Крещатиком, в najwyżшей, как говорят, точке Киева, в ресторан «Москва». И через все шестнадцать этажей поднялись скоростным лифтом на самую крышу.

Весь Киев лежал у нас под ногами. Игрушечные машины и троллейбусы сновали по Крещатику, а на тротуарах сутились какие-то муравьи, а не люди. И видно было так далеко, что, кажется, еще немного — и увидишь родную Васюковку...

Мы сели за столик, и к нам сразу подбежала молоденькая официантка, еще издали улыбаясь и здороваясь с нами, а вернее, с Олегом Ивановичем и с Максимом Валерьяновичем. Так здороваются только с теми, кого хорошо знают, уважают и любят.

Олег Иванович начал заказывать всевозможные кушанья. Долго заказывал — официантка две страницы в блокноте исписала.

Мимо нас пробежал какой-то дяденька-официант и тоже приветливо поздоровался, кивая Максиму Валерьяновичу и Олегу Ивановичу. Официант держал на руке большой поднос с тарелками, от которых шел пар и очень вкусно пахло.

— Что это так пахнет?— тихо спросил меня Ява. (Мы же с утра ничего не ели — даже про бутерброды свои забыли.)

Официантка услышала и повернула к Яве свою улыбку:

— Это шницель. Хотите?

Ява покраснел, как мак. Вышло, что он наприсился на этот шницель.

— А как же... Всем шницели непременно. Мы же голодные, как волки! Целый день снимались...— громко, на весь ресторан, сказал Олег Иванович.

Тут уж мы все четверо покраснели — от удовольствия и гордости.

Официантка куда-то побежала и начала носить на наш стол разные бутылки и тарелки.

Мы «кутили» в ресторане, как настоящие взрослые артисты. Мы ели многочисленные закуски: шпроты, сардины, ветчину, галантин (это такая куриная колбаса), салаты, икру, крабы... Ели шницель... Ели пирожные, конфеты и мороженое...

Максим Валерьянович и Олег Иванович пили коньяк. А нам дали понемножечку шампанского, от которого на нас только икотка напала. Мы прикрывали салфетками свою икотку и внимательно слушали, что говорил Олег Иванович:

— Позвольте выпить за ваши успехи, юные друзья! За ваши первые шаги по тернистому пути искусства! Того, кто ступает на этот путь, ожидают и великие муки, и великие страдания... и великое счастье. Позвольте выпить за ваше счастье!

Мы позволили.

Мы сидели и украдкой озирались во все стороны. Какие-то усатенькие пареньки и накрашенные девчата, что сидели за соседними столиками, перешептывались, поглядывая на нас.

Это была слава.

Та слава, о которой мы так давно мечтали.

Так вот она какая — слава! Ресторан, столики с бумажными салфетками в вазочках, весь Киев под ногами, галантин, шницель, шампанское и икотка... Хорошо!

Выпив за наши успехи и за наше счастье, Олег Иванович и Максим Валерьянович оставили нас в покое и завели речь о каком-то Степане Степановиче, который «ни биса не понимает, извините, в искусстве и только мешает создавать истинно художественные фильмы».

Хоть и был тот Степан Степанович нехорошим человеком, но мы чувствовали к нему благодарность, так как благодаря ему мы могли наконец очнуться от своего счастья и уделить должное внимание пирожным, конфетам и всем тем лакомствам, которые стояли на столе. И все это было такое вкусное, такое вкусное, что у нас три дня потом болели животы.

* *
*

А через три дня, когда выздоровели, мы начали аккуратненько растранижировать свои впервые заработанные трешки. Мы их тратили и коллективно — вместе с Будкой и Валькой, и индивидуально — вдвоем с Явой.

Мы с Явой будто переродились после того «съемочного дня» — ходили погруженные в мечты, задумчивые и как будто сонные.

Нас не интересовали захватывающие игры в густых зарослях возле Лавры (Будка ввел нас в свою компанию, которая оказалась совсем не зловредной и каждый день играла во что-нибудь интересное). Нас не манили тихие прогулки с Валькой и ее подругами.

Нас не радовали все многочисленные радости «Городка развлечений», куда широкую дорогу открывали нам наши трешки.

Другого, совсем другого жаждали сердца наши.

Кулисы, декорации, грим, приклеенные усы и бороды, огни рампы, прожектора, киносьемочные аппараты и... аплодисменты, аплодисменты (ох как жаль, что на киносьемках не аплодируют!) — вот чего хотелось нам нестерпимо, безумно, до боли...

Мы выходили на дорогу и смотрели, не едет ли за нами ассистент из киностудии. Но ассистент не ехал. На студию нас больше не приглашали. Ни съемки, ни пересъемки для нас не было.

Тогда мы отправлялись и долго ходили по городу, останавливаясь у театров, разглядывая сверкающие афиши и вздыхая.

А потом шли и с горя пропивали свои трешки на газированной воде с сиропом.

И вот однажды, сидя в павильоне «Соки—воды» на бульваре «Дружба народов» за стаканом доброго лимонада, мы... Ну конечно, это была Явина идея. Как все гениальное, она была очень проста, и удивительно, что она не родилась у нас раньше. Организовать театр!.. Свой собственный театр в Васюковке! Не какой-нибудь драмкружок, который готовит одну захудалую постановку к празднику, а потом распадается. Нет! Театр! Настоящий, постоянный театр с богатым репертуаром... С эмблемой (во МХАТе чайка, а у нас может быть селезень, дикий гусь или хотя бы аист), со швейцаром в гардеробе (дед Саливон — во кандидатура для этого!), с билетами от рубля — первый ряд, до двадцати копеек — галерка. Обязательно! Бесплатно только паршивые драмкружки выступают... Словом, настоящий художественный театр. А что? Сельская «Третьяковка» может быть, а сельский МХАТ нет?

Больше в Киеве делать нам было нечего. И хоть мы еще должны были гостить не меньше недели, мы в тот же день застонали, что страшно соскучились по дому, уговорили тетку взять билеты и начали собираться.

Великие дела ждали нас в родной Васюковке.

Глава XV

ПОГИБЕЛЬ ЯВЫ СТАНИСЛАВСКО- ГО И ПАВЛУШИ НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКО. И ВСЕ-ТАКИ МЫ ЖИВЕМ!

И вот мы лежим навзничь в траве, смотрим в небо, где насмешливо подмаргивают нам звезды, и страдаем. И зачем мы придумали этот самый ВХАТ на свою голову!

Ну как теперь показаться людям после такого позора! Как смотреть им в глаза...

И это же не в первый раз. Ведь был уже сигнал! Злая доля подкрадывалась к нам уже давно.

Впервые почувствовали мы это в то время, когда показывали в клубе новый, только что выпущенный на экран фильм Киевской киностудии имени Довженко «Артем».

О том, что в этом фильме главные роли революционно настроенных детей играют артисты Рень и Завгородний, давно знало не только наше село, а и три соседних: Пески, Яблоневка и Дедовщина... И так как фильм показывали сначала у нас, нетерпеливые наши родичи из Дедовщины, Яблоневки и Песков притарахтели в тот вечер на телегах, мотоциклах и велосипедах в Васюковку. В клубе яблоку негде было упасть из-за родичей.

Мы с Явой сидели в первом ряду в белых рубашках и новеньких, скрипучих ботинках рядом с председателем колхоза Иваном Ивановичем Шапкой и завклубом Андреем Кекало. На афише, которая уже три дня висела на дверях клуба, огромными буквами было написано, что после просмотра будет «встреча с участниками картины». Андрей Кекало считал это «пунктом номер один» в плане работы на май. Мы три дня не играли в футбол — писали конспект встречи и волновались.

И вот начали крутить кино. Мы вытянули вперед шеи и замерли.

Кино крутилось.

Уже прокрутилось полкартины. Нас не было...

И вдруг мы с ужасом увидели, что знакомого нам жандарма Олега Ивановича, «нашего жандарма», убили революционеры. Мы похолодели... Как же это так? Как же он, мертвый, будет задерживать Артема на мостике? И как же теперь будет с нами?

Судорожно вцепившись руками в стулья, мы смотрели на экран. Мы еще рассчитывали на чудо — что жандарм оживет (чего только не бывает в кино!). Но чуда не случилось.

Жандарм не ожил. Не было в фильме ни реки, ни мостика, ни бац, шлеп, бултых, ни революционно настроенных детей бедняков... Не было того эпизода, в котором мы снимались... Не было совсем.

И когда в зале наконец вспыхнул свет, мы сидели в своих белых рубашках и новых скрипучих ботинках жалкие и несчастные. Но наши родичи были хорошие, благородные и добрые люди. Вместо того чтобы смеяться и ехидничать, они, наоборот, успокаивали нас.

— Ничего, ничего... Наверно, у них что-нибудь случилось такое, что...— сказал двоюродный дядя из Дедовщины.

— А скорее всего по техническим причинам. Из-за какого-нибудь брака... Сами же рассказывали, с каким скрипом оно снималось,— сказал троюродный брат из Яблоневки.

— Ага, ага... Пленка засветилась или еще что... Всяко бывает,— поддакивала пятиюродная тетка из Песков.

Один только завклубом Андрей Кекало поглядывал на нас косо— мы ему сорвали «пункт номер один» в плане культработы на май.

Родичи как в воду глядели. Через несколько дней пришло из Киева письмо от Вальки, где она писала, что режиссер Евгений Михайлович передает нам сердечный привет и очень извиняется, что эпизод на мостике пришлось, к сожалению, вырезать, так как он «не монтировался» (а вообще, вышло здорово, он нам очень благодарен за помощь и прямо плакал, когда вырезал,— это его собственные слова).

Вот такой пшик вышел у нас с кинематографом...

Казалось, этот серьезный сигнал со стороны прихотливой артистической судьбы должен был предостеречь нас, предупредить об опасности. Но мы были легкомысленными шмендриками, похлеще Хлестакова, и не обратили на это внимания. И вот тебе нá! Лежи теперь и плачь, и грызи землю, и волком вой на рогатый месяц...

И не так нам больно и горько из-за своего собственного провала, из-за своего собственного позора и стыда. Что там наши личные боли и страдания! Сколько раз переживали, переживем и теперь!

Главное, что доставляет нам наибольшие, наибольшущие, наигоршие страдания, так это то, что мы вели себя как провокаторы, как предатели, как жалкие подлые штрейкбрехеры... Мы же сорвали весь спектакль, подвели всех. Многомесячная работа всего ВХАТа из-за нас выброшена в помойку...

Много всяких грехов было на нашей совести. Но никогда не были мы предателями. С наибольшим презрением и

отвращением мы сами всегда относились к предателям. И вот...

— У-у, позорники несчастные, сопляки задрипанные!— сквозь зубы ругает нас Ява.

— Зазнайки поганные, барахольщики паршивые!— сквозь зубы ругаю нас я.

— Чемоданы безголовые, а не артисты...

— Индюки ошипанные...

— Конечно, было стыдно стоять и блеять, как бараны, слов не зная. Но мы должны были оставаться на сцене и как-нибудь выпутываться.

— Ну да, должны были наконец набраться мужества и спросить суфлера, что там говорить дальше. Ну посмеялись бы люди малость, и спектакль бы продолжался. А так...

Нам даже страшно представить себе, что сейчас творится в клубе... Вот, должно быть, вышла на сцену Галина Сидорова и упавшим голосом сказала, что спектакль отменяется, так как все видели, что Бобчинский и Добчинский сбежали, как предатели, со своего боевого поста. Зал возмущенно гудит. Какие только слова не сыплются на нашу голову! Родные матери и те отказываются от нас в эту минуту. Что же делать теперь? Чем же помочь беде? Какой выход найти из нашего безвыходного положения?

Нет выхода...

Кинуться с моста в воду, утопиться?

Никто ведь даже не пожалеет... Скажут: так им и нужно, штрейкбрехерам сопливым! Нет выхода. Нету.

Придет завтрашний день, и мы узнаем, что малость многовато на себя взяли, переоценили свою роль в жизни. Мы узнаем, что спектакль совсем не сорвался, что городничий после нашего побега не растерялся и сказал: «Так я и знал, что эти никчемные трусы Бобчинский и Добчинский испугаются и убегут. Хорошо, что я перед этим встретил их на улице и они мне все рассказали...» И ловкач Карафолька дивно пересказал все то, что должны были говорить мы с Явой. И спектакль пошел-поехал как по маслу. Актеры ловко перестраивались на ходу, и то, что должны были говорить мы, говорил кто-нибудь из них. Зрители ничего даже и не заметили. Будто Гоголь написал «Ревизора» без Бобчинского и Добчинского. Спектакль прошел с неистовым успехом. Аплодировали так, как никогда не аплодировали никаким настоящим приезжим артистам... А исполнитель роли Хлестакова Коля Кагарлицкий, тихий, забитый Коля, которого даже не

все соседи знали, в один этот вечер прославился на все село. Прославился так, что еще немного и его именем называли бы одну из сельских улиц. И тогда мы вдруг поняли, что для того, чтобы добиться успеха, нужно прежде всего долго-долго и настойчиво трудиться, как трудился Коля Кагарлицкий. Эта старая и такая известная истина, которую повторяли, вбивали, втолковывали нам на протяжении всей нашей жизни и родители, и учителя, и детские писатели и которую мы всегда так легкомысленно понимали: «А, это для дураков, для неспособных!»— эта старая истина вдруг дошла до нас. Дошла до самой глубины души. Дошла так, как доходили правила арифметики: раз — и все ясно. Долго с грустью будем размышлять мы над суровой неумолимостью этой истины. Но все это — завтра. Завтра!..

А сегодня мы еще ничего этого не знаем... Мы лежим навзничь в траве и тихо стонем.

Покатилась в небе звезда.

Защелкал в кустах беззаботный влюбленный соловейко. Неподалеку в свинарнике счастливо хрюкает спросонья свинья, вспоминая с удовольствием что-то свое, свинячье.

Где-то далеко-далеко, в Дедовщине, громко лают собаки.

Пахнет молодой свежей зеленью, медвяным цветом и коровами.

Прекрасная и неповторимая земная жизнь торжествует, продолжая полет в предрассветном просторе вселенной...

Вдруг Ява вскакивает, садится, обхватывает колени руками и утыкается в них подбородком. В глазах у него прыгают бесенята.

— Артистов из нас не получилось — это точно! — решительно говорит Ява. — Я теперь сам ни за что не хочу быть артистом. Пусть даже мне платят в день сто рублей — не хочу. Мне такая нервная работа не подходит. Проваливаться... переживать... Это просто вредно для здоровья. Знаешь, у меня идея, Павло...

«Павло»? Я уставился на него. Никогда он не называл меня Павлом. Что-то в лесу сдохло... Очень уж, должно быть, серьезная идея, раз он так официально меня называет.

— Денисович... если уж так, — подсказываю я.

— Можно и Денисович... — сказал он, даже не улыбнувшись. — Так вот, Павло Денисович, прошлым летом у нас с вами было, по-моему, немало приключений. Так? Так. Если бы эти приключения были не с вами, а с кем-то другим и этот кто-то рассказал бы их вам, было бы интересно? Так? Так вот у меня идея: мы садимся и пишем книгу про наши приключения... Напишем книгу, заработаем кучу де-

нег и поедем в кругосветное путешествие. На материале этого путешествия снова напишем книгу, снова получим кучу денег и снова махнем куда-нибудь. И закрутится машинка... И мы станем писателями... А что — плохо? Писатели... Мы с тобою... Стоим и даем автографы... Карафольке, Коле Кагарлицкому, Гребенючке... А? Здорово! Как мы раньше не додумались? Писатели... Это, брат, не то, что артисты... Артистов тысячи, а писателей — единицы. Вот сколько ты писателей знаешь? Ну, Пушкин... Ну, Шевченко... Ну, Глебов, Квитка-Основьяненко, Котляревский... Ну, Толстой... Ну, Чехов... Горький... Это классики. А из современных? Ну, Гайдар... Ну, Чуковский... Михалков... Ну, Забила, Бычко, Кава... Ну, Блинец... И — все! Писатели — это, брат, такие люди, что... А в детстве, между прочим, были самые обыкновенные пацаны, вроде нас... А Горький, так тот вообще босяком был...

Я слушаю и смотрю на Яву с восхищением. Эх, Ява! Ну что за парень! Какой он все-таки умница! Как хорошо иметь такого толкового друга!

— И главное, риска никакого, — продолжал толковый Ява. — Никаких провалов. В крайнем случае пришлют на доработку... Как Андрею Кекало.

Наш сельский поэт, завклубом Андрей Кекало, уже сколько лет рассылает свои стихи во все республиканские, областные и районные газеты Украины. Столько писем, как он, никто в селе не получает.

Когда его спрашивают: «Ну, как поэтические дела?» — он гордо отвечает: «Прислали на доработку...»

Дорабатывает он, дорабатывает, а там, глядишь, в какой-нибудь районной газете — раз! — и напечатали.

— Ага, конечно, конечно, — говорю я с жаром. — Доработка так доработка! Подумаешь... Все дорабатывают. Ничего страшного.

И мы тут же начинаем обсуждать Явину идею.

Как будем писать?

Очень просто — от руки. Как Пушкин и Шевченко. Некоторые писатели пишут теперь на машинке. Мы не будем. Во-первых, с нашим умением одну страницу три дня придется мурыжить. Во-вторых, кто нам позволит тюкать в сельсовете на машинке. Правда, есть еще у Кекало, но он свою машинку конкурентам не даст. Он сам каждый день тюкает.

В какой форме будем писать?

Прозой... Только прозой. Никаких стихов. И всё — как было. Ничего не привирая. Разве что, как оно у писателей называется, «художественные детали». И писать будем от



первого лица, так всегда правдивее выходит. Да и смешно называть себя самих «они». Мы — это мы. Но все время писать «мы» тоже как-то не того... Каждый в отдельности ничего сделать не сможет. Ни чихнуть, ни почесаться, ни в носу поковырять. Нужно будет писать «мы чихнули», «мы почесались», «мы поковыряли в носу»... Глупость какая-то! Чего это я должен чихать или чесаться, когда мне не хочется! Только «за компанию»? Да и совсем оно не художественно получается.

Думали мы, думали и надумали, что, сочиняя вдвоем, будем писать вроде как от одного лица. А другого уже называть по имени. Первую книжку будет писать один «Я», вторую — другой.

Кому первым быть «Я»? Тут же бросили жребий. Выпало мне. Ява помрачнел. Ему очень хотелось быть первым «Я»: и идея-то его, и вообще он привык всегда верховодить. Он, наверно, рассчитывал на мое благородство, что я предложу: «Будь ты, Ява, первым». Но я не предложил. Мне не хотелось на этот раз быть благородным, мне хотелось быть «Я», тем более раз честно выпало. Я же не махлевал. Ява, конечно, не стал спорить.

— А название знаешь какое будет? — сказал он. — «Не-

знакомец из тринадцатой квартиры, или Похитители ищут потерпевшего». Здорово? И подзаголовок: «Приключенческая повесть». Читатели в очереди стоять будут...

— Здорово,— сказал я. Хотя название мне не совсем понравилось. Очень уж детективное, несерьезное. Мне хотелось бы какое-нибудь романтическое, возвышенное... Но изменять Явино название после того, как он не стал «Я»,— было бы свинством.

Так и осталось: «Незнакомец из тринадцатой квартиры, или Похитители ищут потерпевшего. Приключенческая повесть».

Мы начали обсуждать план книжки. Значит, так. Начинаем с того, как приехали в Киев. Пишем и про корыто в метро, и про Явино ухо, и про Будку... Потом — про пляж, про незнакомца из тринадцатой квартиры, про часы, про уопленника... Словом, про все, что с нами случилось... И кончаем тем, как мы провалились на «Ревизоре». Честно! Писатели прежде всего должны быть честными.

Мы поднимаемся с земли и расправляем плечи. И нам кажется, что головами мы упираемся в самые небеса. Ява одним ухом даже какую-то звезду сбил — во-он покатилась...

Ну — все!

Завтра мы покупаем в сельмаге большую общую тетрадь в линейку, три авторучки (одна про запас!), садимся и пишем.

Пишем, пишем, пишем...

Потом посылаем...

Потом дорабатываем, дорабатываем, дорабатываем...

Потом снова посылаем...

И — все!

Ну, смотрите же!

Мы еще покажем человечеству, на что мы способны!

Подождите!

Вы еще увидите, кто такие Ява и Павлуша!

.....
А потом я все-таки буду летчиком!

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава I.</i> «Э!», — сказали мы с Явой	5
<i>Глава II.</i> Случай в метро. «Космонавт». Конфликт с киевской милицией	15
<i>Глава III.</i> Ява спешит на свидание. Ухо	24
<i>Глава IV.</i> пляж. Карусели. Утопленник. Незнакомец из тринадцатой квартиры	28
<i>Глава V.</i> Ищем царя-незнакомца из тринадцатой квартиры. Встреча в театре. Величие и падение Явы Реня	41
<i>Глава VI.</i> Будка. Ухо за ухо!	51
<i>Глава VII.</i> Максим Валерьянович	59
<i>Глава VIII.</i> «Товарищ царь, вы арестованы!» «У-у, поразнесу!..»	64
<i>Глава IX.</i> На студии. Неожданность первая. Неожданность вторая	73
<i>Глава X.</i> Где часы? Мы идем в логово врага	79
<i>Глава XI.</i> «Динамо» (Киев) — «Торпедо» (Москва)	84
<i>Глава XII.</i> Казацкому роду нет переводу. Кошевой Карафолька. Письмо запорожцев. Ночь на кладбище (Воспоминания)	89
<i>Глава XIII.</i> Ночные приключения. Выстрел в пещере	100
<i>Глава XIV.</i> «Внимание!.. Начали!.. Мотор!» Часы находят своего хозяина. Рождение Явы Станиславского и Павлуши Немировича-Данченко	116
<i>Глава XV.</i> Погибель Явы Станиславского и Павлуши Немировича-Данченко. И все-таки мы живем!	137

для старшего возраста

Нестайко Всеволод Зиновьевич

НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ

Ответственный редактор *М. Ф. Мусиенко*. Художественный редактор *С. И. Нижняя*. Техн. редактор *М. А. Кутузова*. Корректоры *Л. М. Агафонова* и *Л. М. Короткина*. Сдано в набор 22/I 1971 г. Подписано к печати 2/VII 1971 г. Формат 60×90¹/₁₆. Печ. л. 9. (Уч.-изд. л. 8,68). Тираж 100 000 экз. ТП 1971 № 428. Цена 39 коп. на бум. № 2. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Отпечатано с матриц фабрики «Детская книга» № 1, Москва Калининским полиграфкомбинатом детской литературы Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46. Заказ № 288.



• Павлуша Завгородний •



• Ива Рень •

Цена 39 коп.